

**Военные
Приключения**

МЕРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ



Игорь Яковлевич Болгарин
Мертвые сраму не имут
Серия «Адъютант его превосходительства», книга 8
Серия «Военные приключения»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10215315
Мертвые сраму не имут / Болгарин И.Я.: Вече; Москва; 2015
ISBN 978-5-4444-7398-6

Аннотация

Весна 1921 года. Павел Кольцов возвращается в Москву после кровавых событий в Крыму, когда большевики уничтожили там много бывших врангелевских офицеров. Кольцов полон решимости продолжать борьбу как с внешними, так и с внутренними врагами, но председатель ВЧК Дзержинский неожиданно поручает ему совершенно новое дело: возглавить отдел по пропаганде среди эмигрантов с целью возвращения их на родину. Опытный разведчик берется за выполнение задания, видя в нем лишь паузу в своей главной работе. Однако постепенно Кольцову становится ясно, что порученное ему дело – наиважнейшее, сложное и опасное...

Содержание

Часть первая	4
Глава первая	4
Глава вторая	14
Глава третья	22
Часть вторая	32
Глава первая	32
Глава вторая	37
Глава третья	46
Глава четвертая	51
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Игорь Яковлевич Болгарин

Мертвые сраму не имут

Часть первая

Глава первая

Поезд пришел в Москву с большим опозданием. Несколько часов простояли на каком-то полустанке под Тулой, а от Серпухова их состав тащила маломощная «кукушка» едва ли не со скоростью пешехода. И в столицу они въехали вместо раннего утра незадолго до полудня.

Глядя на полужнакомые московские улочки, проплывающие мимо вагонного окна, Кольцов пытался вспомнить, сколько же времени он здесь не был. После веселенькой буколической Франции он всего лишь несколько дней побыл в Москве, но тут же отправлен в Харьков. Потом Берислав, Каховка, Строгановка, Сиваш и, наконец, залитый кровью Крым. Все это пришлось на зиму. Значит, в Москве он был поздней, с холодными дождями, снежной крупкой и короткими ночными снеговьями, осенью.

Сейчас было то же самое: тот же снег ночами и лужи днем. Но только это уже была весна. Весна двадцать первого года, первая весна без войны.

Иван Игнатьевич тоже смотрел в вагонное окно, высматривал среди домов позолоченные купола церквей и церквушек. Завидев, каждый раз истово крестился. И при этом каждый раз удивленно приговаривал:

– А баили мужики, быдто Рассея от Бога оттринула.

На перроне их встречал Гольдман. Едва Павел спустился на перрон, Гольдман обхватил его и, по-медвежьи тиская, приговаривал:

– Ну, здравствуй, друг сердечный, таракан запечный! Ждали тебя! Ох, как ждали! Я тут подсчитал: мы с тобой целую вечность не виделись. Девяносто шесть дней.

– Меньше.

– У меня бухгалтерия точная.

– А в Харькове? – напомнил Кольцов.

– Это когда ты при начальстве стоял. Даже не поздравствовался как следует. Боялся уронить свой авторитет? – упрекнул приятеля Гольдман. Тот не успел ему ответить, потому что Гольдман слегка отступил в сторону и Кольцов увидел второго встречающего... Бушкина. Он даже не сразу узнал его, исхудавшего и от этого, как ему показалось, будто даже ставшего выше ростом.

Тогда, в калейдоскопе последних крымских драматических событий, Кольцов не сразу вспомнил, что отправленный во Владиславовку к Кожемякину Бушкин своевременно не вернулся. Уезжая в Харьков, Павел подумал, что вымещать свою ненависть на Бушкине Землячка вряд ли станет. Впрочем, Землячка просто ни разу не встретилась с Бушкиным, иначе трудно сказать, чем бы эта встреча могла закончиться.

Кольцов обнялся с Бушкиным, после чего представил встречающим турецкого гостя. Иван Игнатьевич, здороваясь за руку, тоже слегка нагибал голову, как это иногда делал Кольцов, и при этом приговаривал:

– Здравствовать и вам!

Преображенный одеждой, Иван Игнатьевич и сам теперь стремился придерживаться тех правил, которые примечал в российских людях, с которыми доводилось общаться. Как и

почти все они, лицо он держал строгим, озабоченным. Большинство из них выглядели так, будто даже на ходу решали какую-то важную задачу.

Еще в Одессе на фронтоне красивого здания, кажется театра, он увидел красное полотнище, на котором большими белыми буквами было выведено: «Мы построим социализм!» И Иван Игнатьевич уже тогда понял, почему все окружающие его люди в большинстве своем такие строгие, суетливые, задумчивые. Они строят социализм. Что это, он не знал. Но, видать, дело трудное, и пока, похоже, у них еще не все получается.

С вокзала они ехали на большущем «Остине». Сидя на переднем сиденье, Иван Игнатьевич с любопытством прилип к окну.

– Ох, ты, мать честна! – едва ли не на каждом повороте восклицал он.

– Ты чего, Игнатьич, мать вспоминаешь? – спросил Кольцов.

– Да ить как жа! Оне Станбул выхваляют, а чо в ем? Одна София, и ту испоганили. Не, Москва лучшее!

Даже в пасмурную погоду благодаря большому количеству церквей, ярко расписанных, с позолоченными куполами, маковками и крестами, Москва действительно гляделась радостной и приветливой. И все же она открывалась Ивану Игнатьевичу совсем не такой, какой виделась по песням переходящих калек-гусяров. Случалось, они забредали и в его родную Новую Некрасовку. В своих песнях они звонкоголосо воспевали Москву, и она виделась некрасовцам в виде большого и нарядного тульского пряника или дородной, блистающей золотом хохломской боярыни.

Глядя в окно машины, он нисколько не разочаровался. Наоборот: даже в слякотную весеннюю погоду Москва представляла перед глазами Ивана Игнатьевича намного красивее, чем в сладкоголосых песнях гусяров, потому что была живая, невыдуманная, в чем-то узнаваемая, в чем-то поражающая его воображение.

А Кольцов, Гольдман и Бушкин тем временем говорили о своем.

– Ты вот дни считал, а мог бы, между прочим, и весточку подать: как вы, что вы? – упрекнул Кольцов Гольдмана и тут же обернулся к Бушкину: – И ты тоже, артист!

– Не могли, Паша! – вступился за себя и за Бушкина Гольдман. – Опасались твое лежбище открывать. Землячка могла вычислить, где ты схоронился. Хитрющая баба. И мстительная.

– А что же сейчас не побоялись меня сюда вытащить?

– Теперь ей Феликс Эдмундович чуток руки укоротил. Он намерен с самим Троцким встречаться. Насколько знаю, и о тебе разговор был.

Мельком Кольцов заметил, что они уже миновали Лубянскую площадь и выехали на Тверскую.

– А что, мы не в Чека? – удивленно спросил Кольцов.

– Потом, потом! – с некоторой загадочностью в голосе сказал Гольдман. – Попутно у нас еще одно небольшое дело.

С Тверской они свернули на Садовое кольцо, потом – на Арбат. С Арбата – в узкий переулок и затем нырнули в тесный уютный дворик.

– Ну вот! Приехали!

– Что у нас здесь за дела? – спросил Кольцов, не выбираясь, однако, из автомобиля.

– Да ты хоть выйди! Разомнись!

По их веселым и таинственным взглядам Кольцов понял: тут что-то затевается.

Кольцов выбрался из автомобиля, следом то же сделал Иван Игнатьевич: он внимательно следил за Кольцовым и повторял все его движения.

– Ну ладно! – с легким раздражением сказал Кольцов. – Выкладывайте! Что у вас здесь за тайны?

– Никаких тайн! Решили попутно поведать человека.

– Какого еще человека? Кончайте шутки. Меня на Лубянке ждут.

– Не шуми, Паша! Всеу свой черед! – с прежней загадочностью сказал Гольдман и направился к двери подъезда. Обернувшись, он заметил, что Кольцов продолжает стоять на месте. Это взбесило Гольдмана:

– Ну, ты, козлице упрямый! Зачем людей обижаешь? Неужели тебе не интересно, какой сюрприз приготовили тебе товарищи!

– Так бы и сказали: сюрприз. А то: «кого-то проведем». Гардеробщика с Лубянки, – и Кольцов пошел следом за Гольдманом.

В подъезде Гольдман спросил у Бушкина:

– Третий, что ли?

– Третий, третий, Исаак Абрамович, – укоризненно проворчал Бушкин. – Который раз сюда наведываетесь, а все не запомните.

На третьем этаже Бушкин прозвенел ключами и затем отпер высокую резную дверь. Распахнув ее, отступил.

Отступил и Гольдман, пропуская впереди себя Кольцова.

– Входи!

Кольцов вошел в прихожую. Она была пуста. Кроме прибитой к стене деревянной вешалки, здесь больше ничего не было.

– Ну, вошел, – сказал Кольцов. – Ну и что?

Кольцов начинал догадываться: Гольдман, зная нелюбовь Павла к многолюдным казенным гостиницам, которых он по возможности старался избегать, снял для него на время пребывания в Москве частное жилье.

Гольдман бросился к следующей двери, ведущей из прихожей в комнаты.

– Сюда!

Кольцов, а за ним и остальные вошли в коинату. Оттого, что в ней не было никакой мебели, кроме большого круглого стола, она казалась огромной.

Бушкин тем временем поочередно открыл еще две двери, ведущие в комнаты поменьше. При этом он голосом циркового шпехшталмейстера объявил:

– Спальня!.. Детская!..

Гольдман, в свою очередь, открыл еще одну дверь и тоже, но скромнее сказал:

– Кухня!

– Так! А теперь, наконец, объясните, что это значит? – строго, с некоторым недоумением спросил Кольцов.

– Сам не догадываешься?

– Начинаю догадываться. Но боюсь вслух сказать.

– Правильно догадываешься, – сказал Гольдман. – Твоя квартира! Понимаешь? Твоя! – объяснил Гольдман. – Подарок тебе от советской власти!

Кольцов молча заглянул в одну, другую комнату. В одной комнате стояла кровать с хромированными набалдашниками, грубый деревянный гардероб и две табуретки. Кровать была аккуратно застелена. Во второй комнате, кроме кушетки, ничего не было.

В кухне к умывальнику был приставлен длинный узкий стол, на котором в ряд стояли примус, керосинка, стопка тарелок, чашек и деревянный ящичек с вилками, ложками и ножами. И еще Кольцов увидел там несколько непонятного назначения закрытых коробок.

Снова вернувшись в гостиную, Кольцов спросил:

– Так это все же не шутка?

– Какая шутка? Какая шутка? – возмутился Гольдман. – Третий месяц тебя дожидается. Я когда из Крыма вернулся, Феликс Эдмундович о тебе начал расспрашивать. Рассказал. И про Харьков спросил, где ты там жить будешь? Словом, поговорили. А на следующий день он снова меня вызвал и дал ордер на заселение. Посмотрели: хорошая квартирка. Так она и

стояла, тебя дожидалась. А вчера Феликс Эдмундович сказал, что ты приезжаешь. Попросил привести ее в жилой вид. Целый день мотались. Но, извини, не все успели.

– Но зачем мне одному такие хоромы? – спросил Кольцов.

– На вырост, Паша! На вырост!

– Ну а детская?

– Сегодня не нужна. А там, глядишь, одной мало окажется, – невозмутимо парировал Гольдман вопросы Кольцова.

– А кто-нибудь у меня спросил, собираюсь ли я жить в Москве?

– А где ж еще?

– Вот разберемся до конца со всей нечистью – и все! И – в Харьков. Буду там жить при коммуне Заболотного. Стану беспризорных детишек грамоте учить, воспитывать. Там и двое моих – усыновленных. Куда они без меня?

– Сюда заберешь. В Москве, между прочим, беспризорников поболее, чем в твоём Харькове. Тут коммуны организуешь.

– Лихой ты мужик, Абрамыч, – насмешливо сказал Кольцов.

– Это что ж так?

– Гляжу, ты уже все мои дела за меня порешал, на все мои вопросы знаешь ответы.

– А с тобой иначе нельзя, Паша. Объясняю для неграмотных. Чекист ты от Бога, не спорю. Тебе за армию или там за Чека двумя руками держаться надо. Тут за тебя обо всем подумают: и где переспать, и как одеться, и что поесть. А в гражданской жизни все не так. В гражданской жизни четыре глаза надо иметь и чтоб голова на все стороны света вертелась.

– Как-то же живут люди. Приспосабливаются.

– Во! Правильно понимаешь: приспосабливаются. Но ты-то приспосабливаться не умеешь. Не дано тебе это: приспосабливаться. А в гражданской жизни без этого – труба. Так что сиди ты на своем месте и не рыпайся, – совсем не шутя, посоветовал Гольдман Кольцову.

– Рыпаться буду, – скупно улыбаясь, упрямо сказал Кольцов. – А что касается твоего совета – подумаю. Благо принимать решение предстоит не сегодня и не тебе.

Кольцов еще раз обошел квартиру. Изучая ее более подробно, заглянул во все уголки. Под конец обхода распахнул балконную дверь, впустив в квартиру сырой весенний воздух. Вышел на балкон, Гольдман последовал за ним.

– Сюда я на днях короба завезу, в столярке заказал. Здесь повешу, – Гольдман указал на балконное ограждение. – Земельку в них засыплем, цветочки в свободное время будешь разводить, – и мечтательно добавил: – Представляешь? Утречком, еще сонный, выходишь на балкон...

– На цветочки у меня не будет времени, – оборвал Гольдмана Кольцов.

– Ну, не ты, так жена. Бабы любят цветочки на балконах разводить.

– Прости, а я что, уже женат? – удивленно спросил Кольцов. – Тогда уж позволь полюбопытствовать: на ком?

– Но ведь не будешь же ты весь век бобылем? А при такой квартире какая-нибудь москвичка быстро гнездышко здесь совет.

– Так! Все понятно! – решительно сказал Кольцов и сухо спросил: – Это не шутка? Квартира действительно моя?

– Обижает, Паша. Такими вещами не шутят, – даже сердито нахмурился Гольдман.

– Тогда категорически запрещаю чем бы то ни было захламливать балкон. Кстати, цветы на балконе я действительно не люблю. Мещанство!

– Как скажешь. Мне даже легче, – смиренно согласился Гольдман и в том же тоне продолжил: – А как насчет балконного пейзажа? Не прикажешь ли его несколько подкорректировать?

– Не понял вопроса.

– Посмотри во-он на те крыши, – Гольдман указал вдаль, где из-за домов выглядывали остроконечные кремлевские башенки с венчающими их двуглавыми орлами: – Те две курицы не портят тебе настроение? Может, велишь убрать?

Кольцов понял веселую издевку Гольдмана.

– Пока не трогай. Я подумаю, чем их заменить, – Кольцов дружески обнял Гольдмана за плечо. – Спасибо, тебе, Исаак Абрамыч, за заботу.

– Это не меня, это Дзержинского поблагодаришь. Герсон велел тебе передать, что Феликс Эдмундович ждет тебя сегодня ровно в семь вечера.

– Одного?

– Я так понял: пока одного. А Иван Игнатьевич пусть отдохнет с дороги, побродит по окрестным улицам, на Кремль посмотрит. А чтобы не заблудился в Москве, на время его пребывания велено прикрепить к нему Бушкина.

Задолго до семи вечера Кольцов вошел в приемную Дзержинского. Он пока еще не пришел.

Феликс Эдмундович, за спиной которого остались стачки, аресты, тюрьмы, ссылки, побег, снова тюрьмы и снова побег, не любил перемен в быту. Он подолгу носил одну и ту же одежду, трудно привыкал к новой мебели и не терпел все перестановки и обновления. В приемной стоял все тот же старенький диван, та же тумбочка в углу, на которой стоял все тот же давний (или такой же) тульский самовар.

И хозяин приемной тоже был все тот же, еще крепкий, но уже немолодой Герсон. Он не первый год работал с Дзержинским и знал все его привычки и предпочтения. Долгие годы, оставаясь секретарем, он постепенно стал и его денщиком, а затем и строгим охранником.

Ходоков с различными жалобами шло к Дзержинскому много, и он по возможности старался принять всех. Герсон вменил себе в обязанность допускать к Феликсу Эдмундовичу только людей с важными ходатайствами и жалобами, которые никто иной решить не мог.

Дзержинский вошел в приемную без пятнадцати минут семь. Увидев Кольцова, обрадовался. Поздоровавшись, не выпуская его руку из своей, повел в кабинет. На ходу спрашивал:

– Как жили в Харькове? Как доехали? Как устроились?

На все эти ритуальные вопросы Кольцов отвечал коротко, позволил себе лишь странно поблагодарить Дзержинского за заботу о нем.

– Вы о чем? – не сразу вспомнил Дзержинский.

– О квартире.

– Понравилась? Все устраивает?

– Намного больше, чем мне нужна.

– Привыкнете. Я случайно узнал, что у вас до сих пор нет в Москве своего угла. А без него человек не так прочно стоит на земле. По себе знаю.

– Спасибо.

– Все ваши бытовые вопросы я поручил решать Гольдману. Он человек опытный, справится, – и, подведя черту под политесом, Дзержинский сказал: – И закроем эту тему. Перейдем к делу. А дела, собственно, пока и нет. Есть суета. Речь у нас с вами пойдет о тех тысячах белогвардейцев, которые бежали из Крыма. Вы лучше меня знаете, кто бежал. Немного армейской знати, немного богачей с семьями. Но в основном-то бежали мужики. Запуганные пропагандой господина Климовича, из страны бежали также рабочие, но в массе – крестьяне, гречкосеи, кормильцы народа. Главный контрразведчик Врангеля нашел те слова, после которых и невинные почувствовали себя виноватыми.

– Но как теперь разобраться, кто виноват, а кто нет. «Кровь на руках» – не аргумент, – задумчиво сказал Кольцов. – Найдите такого, кто скажет: у меня кровь на руках. Даже палач промолчит.

– Ну, положим, это можно и выяснить, и доказать, – сказал Дзержинский – Нет ничего тайного, что при определенном профессиональном опыте не стало бы явным.

– А это значит, что десятки и десятки тысяч тех, кто вернется, мы снова пустим в безжалостную следственную машину. Поверьте мне, все будут виноваты, – жестко сказал Кольцов. – Все без исключения. И что тогда? Расстрел, как это только недавно было в Крыму? Или лагеря? Тогда зачем мы просим их вернуться? Чтобы насладиться жаждой мести?

– Однако вы либерал, – скупно улыбнулся Дзержинский.

– Вовсе нет. Просто я лично наблюдал эту кровавую мясорубку там, в Крыму. У этих «революционных троек» отходов не было. Все шло под нож.

– Какой же выход вы видите? – спросил Дзержинский.

– Выход только один: простить всех. Всех! И виновных и невиновных. И никогда больше к этому вновь не возвращаться. Страсти улягутся, все придут в нормальное состояние. Будем не мстить, а просто жить.

Дзержинский грустно улыбнулся:

– Дорогой Павел Андреевич! Я об этом говорил не однажды. Почти на всех последних совещаниях. Ни Ленин, ни Троцкий меня не поддержали. Лев Давыдович, это понятно. Он всех ушедших из Крыма считал врагами и объявление амнистии рассматривал лишь как способ заманить всех их сюда и здесь расправиться. Владимир Ильич мягче, он понимает, что многие, особенно крестьяне, не выступали под политическими лозунгами. Они сразу заявили о своих справедливых притязаниях на землю. Но и с этим мы пока не справились. Крестьянин пока хозяином земли не стал.

– Тогда о чем мы говорим, если ни вы, ни я не хотим участвовать в этой грязной операции заманивания людей домой, а на самом деле для расправы? Я лично не хочу быть тем козлом, который ведет стадо овец на бойню. Вы, как я понимаю, тоже.

– Предположим. Но тогда вы должны понимать альтернативу всему этому. Врангель увел армию из Крыма вовсе не для того, чтобы спасти людей. У него совершенно иные планы. Он готовится к новому походу на Россию. И не только он. В Польше собирает свое войско Булак-Балахович, на Дальнем Востоке – этот забайкальский атаман Семенов, ставший преемником Колчака. Не ликвидирован и международный авантюрист Борис Савинков, который доставляет нам немало неприятностей. Вам всего этого мало? Могу добавить еще. Нам надо быть предельно бдительными. Один неверный шаг – и война. Причем, возможно, еще более кровавая, чем предыдущая.

Кольцов долго молчал. Многого из того, о чем ему рассказал Дзержинский, он не знал. О личном отношении Троцкого к белогвардейцам он частично знал, но о многом догадывался. Было о чем задуматься.

– Я понимаю вас, – наконец сказал он. – Но неужели так трудно убедить наших вождей забыть о мести? В конце концов, подумали хотя бы о том, что Россия обезлюдела. Миллионы погибли в войне четырнадцатого. И Гражданская война едва ли не уполовинила российское народонаселение. Земля осталась, а работать на ней некому. Даже те, кто кормился от земли, уходят в города, пытаясь там найти себе место и мизерный заработок, чтобы хоть впроголодь прокормить семью. Еще немного, и в России начнется жестокий голод.

– Мы говорим об этом почти ежедневно. И почти ежедневно я повторяю, что амнистия должна быть безоговорочная и распространяться абсолютно на всех. Я не одинок. Многие из руководства со мной согласны. Надеюсь все же достучаться и до Ленина, и до Троцкого, – уверенно сказал Дзержинский..

– Ну а пока что? Ждать?

– Нет, конечно. Ваши предложения?

– Их у меня много.

– Ну так вот! Прежде всего послушайте мои. Я отозвал вас в Москву не только из-за этого вашего... э-э... турецкого дьякона. Мне о нем рассказывал Менжинский, и об этом мы еще поговорим. Но прежде всего мы хотели бы предложить вам организовать и затем возглавить некое пропагандистское бюро или перепрофилировать уже существующее, под конкретную задачу: возвращение соотечественников на Родину. Подробности обговорим потом. Сейчас я хотел бы знать, что вы по этому поводу думаете? Мне показалось, что наши взгляды на этот вопрос во многом совпадают.

Вот уж чего Кольцов никак не ожидал – такого предложения. Он не считал себя гуманитарием, хотя в свое время, после гимназии, три года проучился в университете на юридическом факультете. Здесь его привлекала не писанина, которой нельзя избежать, а обустройство мира, как построить его честным и справедливым для людей. Время от времени он размышлял и записывал какие-то свои мысли в тетрадку, которую озаглавил «Институт справедливости». Давно потеряна где-то под Каховкой эта тетрадка, а мысли не забылись и по сегодняшний день.

Откуда это пошло? Может, от отца с матерью. Не обладающие достатком, они превыше всего ставили честность и справедливость. Отец порой мучился потому, что кому-то задолжал какие-то копейки, и помнил об этом, и томился душой до тех пор, пока не возвращал долг. Честность и справедливость, это было то, что с малых лет привито Павлу семьей и стало его жизненным правилом, которого он постоянно стремился придерживаться, даже в самые трудные минуты.

А чем он займется на этом новом своем поприще? Листовки, воззвания... Впрочем, и в этом деле, которого пока он еще почти совсем не представлял, было, вероятно, не все так уныло.

– Думаете? – спросил Дзержинский. – Ну, думайте, думайте! У вас на это есть еще... минут двадцать.

– Ну, если всего лишь двадцать, то не будем их тратить попусту. Я согласен.

– Ну, вот и договорились! – радостно сказал Дзержинский. – Я был совершенно уверен, что это дело вам по плечу.

– Я совсем не уверен, – уныло сказал Кольцов. – Я даже не понимаю, с чего начинать, когда и как?

– Это ведь не я сказал: «Не будем тратить время попусту». Начинайте!

– С чего?

– Ну, хотя бы... – Дзержинский какое-то время размышлял и затем стал торопливо говорить: – Сегодня же передаем вам типографию бывшего Южного фронта. Фрунзе уже переправил ее в Москву. При ней есть небольшой штат типографских рабочих. Начинайте с листовок. Это наше первейшее дело. Их мы должны будем доставить в белогвардейские лагеря. Это очень важно. Надо заронить в души наших бывших противников простую мысль: война кончилась. Все! Советская власть не собирается воевать со своим народом, даже с теми, кто по тем или иным причинам оступился, запутался, не сумел своевременно разобратся в том, кто прав. Никто и никогда не имеет права напоминать им их вину. В их вине виновата война. Это – тезисы. Развейте их так, чтобы все было предельно убедительно!

– Главное, чтобы это было честно, – Кольцов поднял глаза на Дзержинского. – С этим должны согласиться и Ленин, и Троцкий. Иначе не стоит этим заниматься.

– Обещаю вам добиться их согласия. В конце концов, справедливость на нашей стороне.

Дзержинский поднялся с кресла, разминаясь, прошелся по кабинету:

– А теперь вернемся к этому вашему дьякону. Вы провели с ним уже два дня. Ваши впечатления?

– Они не расходятся с впечатлениями Менжинского. Деревенский мужик. В меру грамотный, бесхитростный и, по-моему, честный. Во всяком случае, таким показался он мне.

И Кольцов вкратце рассказал Дзержинскому обо всем, что недавно сам узнал от Ивана Игнатьевича. И о восстании в 1706 году донского казачьего атамана Болотникова и его верного сподвижника Игната Некрасова против царя Василия Шуйского. После подавления восстания Болотников погиб, а Игнат Некрасов увел с собой шестьсот семей, которым грозила царская расправа, сначала за Дунай, а затем и в Турцию. Там они обосновались, рассеялись по всей турецкой территории и вот уже больше двухсот лет живут на чужой земле обособленно, своим патриархальным православным укладом.

– Мне Менжинский сказал, что этот дьякон живет в селе на побережье Эгейского моря, совсем близко от полуострова Галлиполи. Как раз там французы поместили около тридцати тысяч наших солдат и офицеров. Некоторые находятся там даже с семьями.

– Я тоже слышал это от дьякона. Село, в котором этот дьякон проживает, совсем небольшое: дворов под семьдесят. Есть церковь. Но случилась беда: умер поп. Другого найти не смогли. И сельская община делегировала дьякона идти в Москву к патриарху, чтобы он прислал им попа, а если такой возможности не окажется, то возложил бы чин священника на этого самого дьякона.

– Понятно. Чтоб ввели дьякона в сан. Так, кажется, это называется.

– Вы и такие вещи знаете? – удивился Кольцов.

– Когда-то изучал каноны православия. Из чистого любопытства, в ссылке. А, оказалось, позже пригодилось. Еще раз убедился: любые знания, которые человек приобретает, не оказываются бесполезными. По некоторым причинам я однажды выдал себя за ксендза. И идти бы мне по этапу, если бы случайно в полицейский околоток не зашел местный ксендз. Мы с ним немного поспорили о теологии, и ксендз заверил полицейских, что я истинный знаток богословия.

Дзержинский расстелил на столе часть карты, на которой можно было увидеть Константинополь, Проливы, Красное и Эгейское моря. Жестом пригласил Кольцова приблизиться.

– Вот Эгейское море, а вот Галлиполи. Мы уже дважды посылали туда своих людей. И оба раза они потерпели неудачу: в обоих случаях их расстреляли румынские грабители. У них ничего с собой не было, мы только прокладывали туда эстафету.

– Чем же смог заинтересовать Менжинского наш дьякон? – спросил Кольцов.

– Только тем, что живет поблизости от Галлиполи. В сущности, это возможная и не слишком опасная эстафета. Во всяком случае, если удастся зацепиться за это село, за Новую Некрасовку. Сейчас Вячеслав Рудольфович наладил связь с болгарскими контрабандистами. Но это всего лишь половина дела, – Дзержинский взмахом руки показал на карте путь от болгарского побережья Черного моря до Эгейского и ткнул пальцем в какую-то точку. – Это вот – Новая Некрасовка. Путь от мыса Калиакра до Новой Некрасовки вроде бы и недалекий. Но большая его часть – по турецкой территории. По болгарской территории до турецкой границы согласились проводить болгарские товарищи. А дальше? Кругом турецкие поселения. Вероятность встречи с турками огромна. Вячеслав Рудольфович возлагает большую надежду на этого вашего дьякона. Он там живет. Всю тамошнюю землю пешком исходил. Знает, как с турецкими жителями общаться. Вячеслав Рудольфович полагает, что, если заручиться поддержкой этого дьякона, риск добраться до Галлиполи минимальный. А там, в галлиполийском лагере, у нас есть свой человек. И в Чаталдже. Это вот здесь! – и, свернув карту, Дзержинский поднял глаза на Кольцова. – Вот, пожалуй, и все, что мы имеем на сегодняшний день. Как я понимаю, вся надежда на вас. Надо суметь обратить этого вашего дьякона в нашу веру. В переносном, конечно, смысле.

– Я так понимаю, надо этому дьякону всячески помочь, – сказал Кольцов. – Насколько успешна будет его миссия, настолько он ответит нам добром на добро.

– Совершенно верно, – согласился Дзержинский. – Как видите, от вас сейчас зависит куда больше, чем от всех нас. Рассчитываю на ваши дипломатические способности при переговорах с патриархом. Задача, поверьте, не из легких. Он очень обижен на советскую власть, она полностью отмежевалась от церкви. Владимир Ильич полагает, что уже в скором времени религия как некий дурман будет искоренена в границах советской власти.

– Ну а вы? – с легкой усмешкой спросил у Дзержинского Кольцов. – Как вы относитесь к этому?

– Я пока еще чуть-чуть католик. С католичеством я все еще соблюдаю нейтралитет, – в ответ на вопрос Кольцова с легкой улыбкой ответил Дзержинский.

– Вы тоже дипломат, – сказал Кольцов.

– Мы все дипломаты, если в этом возникает необходимость, – Дзержинский встал, давая понять Кольцову, что встреча закончена.

– У меня последний вопрос, – торопливо сказал Кольцов.

– Да, слушаю.

– Эта мысль возникла у меня сейчас. Быть может, есть смысл мне отправиться в Галлиполи на переговоры. В качестве агитатора. Дело, конечно, опасное. Но не намного опаснее тех, которые мне уже приходилось выполнять в белогвардейских тылах. Я думаю, я справился бы. На девяносто процентов там, в лагерях, люди, которые мечтают вернуться на родину. Они ждут не листовки, а живого человеческого слова.

Дзержинский нахмурился:

– Меня поражает ваше легкомыслие. Я поручаю вам ответственнейшее дело, а вы... Вы предлагаете мне... как это у вас, у русских, говорят: палить из пушек по воробьям.

– Но кто-то же должен будет туда пойти?

– Кто-то должен, – согласился Дзержинский. – Значит, кто-то пойдет. И вы его, естественно, хорошо подготовите. Вы не будете возражать, если вместо вас туда пойдет ваш хороший товарищ...

– Кто?

– Ну, скажем, Семен Красильников. Вряд ли вы скажете, что у него намного меньше опыта?

– Но его здесь нет. Я отправил его в Евпаторию, чтобы он ненароком не попался на глаза Землячке. Он должен был ждать моего сигнала.

– Он оказался непослушным, – улыбнулся Дзержинский. – Даже не так. Он пришел к Менжинскому, истомившись от безделья. И тот отправил его подальше от Землячки, сюда, ко мне. Хороший сотрудник. Он тут с товарищами недавно раскрыл в Мытищах небольшую, но зловредную контрреволюционную банду. Сейчас занимается зачисткой. Завтра-послезавтра вы с ним встретитесь.

Вечером на квартиру к Кольцову пришел Гольдман с двумя пакетами в руках. Ставя на стол тот, что больше, объяснил:

– Это тебе, Паша, презент от поклонника твоего таланта. Заметь, это его слова. Он что-то говорил...

– Что это и от кого? – сухо и деловито обрезал его Кольцов.

– Беня Разумович, ты его хорошо знаешь, велел тебе кланяться и передать все, что только смог найти в своей швейной мастерской. И еще он что-то говорил о двух его братьях-капиталистах. Но, честно, я не запомнил. Кажется, у кого-то кто-то родился. Сам выяснишь, если тебе это интересно. А в коробке, насколько я понял, полотенца, пододеяльники, простыни – словом, все, что в домашнем хозяйстве лишним не бывает.

Затем рядом с подарком Разумовича Гольдман поставил еще одну коробку, поменьше:

– У нас нет братьев-капиталистов, поэтому и подарок несколько скромнее. Тут вам с Иваном Игнатьевичем немного харчей, чтобы, неровен час, не померли в Москве с голоду.

Лишь после этого Гольдман снял свою кожанку, повесил ее на спинку стула и присел к столу:

– Примус не забыл, как разжигается?

– А зачем?

– Бурбон! В Москве, которая всегда считалась гостеприимным городом, прежде гостей хорошо кормили. Но ты – голытьба. Угости нас хоть нашим же чаем. Привыкай к московским традициям, – назидательно, но шутливо сказал Гольдман.

– Пошел ты к черту! – рассмеялся Кольцов.

– Понял. Разжигать примус тоже не умеешь. Ладно, я тебе помогу.

Гольдман пошел на кухню и уже оттуда, через открытую дверь, сказал:

– Герсон просил передать, что с патриархом Тихоном договорились. Он примет вас с Иваном Игнатьевичем завтра в два часа пополудни. И просили не опаздывать. У них там, в Троицком подворье, пропускная система строже, чем в нашей конторе.

Кольцов обернулся к отрешенно сидящему в уголке гостиной Ивану Игнатьевичу:

– Слышал, Игнатьич? Завтра пойдем к твоему патриарху!

– К самому? – взволновался Иван Игнатьевич.

– Не слышал, что ли? К самому Тихону.

– Ох ти, мать чесна! Дондеже своими глазами на яго не погляжу, в век не поверю, – бормотал Иван Игнатьевич. – До константинопольского меня и на порог не пушали, а тут... фу ты – ну ты! Из еного чего выходить? Шо наш расейский патриарх лучшее усеа других, бо людей понимать. Потому, православный.

И Иван Игнатьич схватился с места, склонился к своей котомке, стал что-то в ней искать. Краем глаза Кольцов заметил: своей серой заячьей шапкой он стал старательно начищать подаренные ему в Харькове сапоги, доводя их до зеркального блеска.

Глава вторая

До Троицкого подворья на Самотеке они шли пешком. День был веселый, солнечный. В город незаметно и осторожно прокрадывалась весна.

Они долго шли вдоль высокого каменного забора, и Иван Игнатьевич старательно обходил лужи, опасаясь испачкать сапоги.

Отыскивали ворота, рядом с ними – отдельную калитку, возле которой лениво прохаживался красноармеец. Заметив приостановившихся Кольцова и Ивана Игнатьевича, он окликнул их:

– Тута не дозволено стоять. Запрещено!

– А может, нам все же можно! – не спросил, а утвердительно и строго сказал Кольцов. – Вызови начкара!

– Они час назад, как отбыли, – ответил часовой и, что-то вспомнив, торопливо полез в карман шинели, извлек оттуда клочок бумаги, заглянул в него: – А вы случаем не Кольцов будете?

– Кольцов!

– Из Чеки?

– Из Чеки.

– Вы тут чуток погодить. Я зараз!

Красноармеец скрылся за калиткой. И они услышали, как он там, на подворье, кого-то окликнул:

– Гавриш! Гукни сюды того святого, шо утром компотом нас поили. До их прийшлы!

Вскоре калитка вновь открылась, и за спиной красноармейца они увидели высокого холеного священника в черном подряснике.

– Входите! – сказал он.

Красноармеец посторонился, пропуская Кольцова и Ивана Игнатьевича.

Священник подождал, пока они пройдут сквозь калитку, и молча повел их к приземистому двухэтажному зданию с куполом и золоченым крестом на самой макушке.

По подворью ходили красноармейцы, нарушая патриарший покой своими громкими разговорами. Щуплый рыжий красноармеец тащил с патриаршего яблоневого сада охапку толстых сучьев. Во дворе слабо дымил костер, над ним на камнях стояла бочка.

– Охрименко, ты пошто яблони рубишь? – крикнул от калитки часовой.

– Та я трошки. Хочу постираться чуток!

– Баньку бы вздул!

– Труба завалилась. Дым на улицу не выпускает.

– А дрова сыры, токо тлеть будут, а жару не дадут.

– Ничо. С божьей помощью!

Сопровождающий Кольцова и Ивана Игнатьевича священник коротко взглянул на Кольцова и тихо пожаловался:

– Так ноне и живем.

– Беспокойно, – посочувствовал Кольцов.

– Это бы еще ничего. Бесправно! – и священник со вздохом добавил: – Пытаемся ужиться.

– Простите, как вас величать? А то как-то неудобно. Идем, разговариваем, а обратиться затрудняемся, – сказал Кольцов. – Между собой мы словом «товарищ» обходимся. Не подскажете, как к вам обращаться?

– Скажу, если запомните. Меня отцом Анемподистом кличут, – и затем добавил: – Мирская фамилия тоже сохраняется. Родительская: Телегин. При патриархе экономом состою.

- Очень приятно. Я – Кольцов. Можно и проще: Павлом Андреевичем.
- Тогда позвольте узнать, как спутника вашего? – поинтересовался священник.
- Иваном Игнатьевичем, – ответил Кольцов.
- Наслышаны, как же! Заграничный гость, если не ошибаюсь?

– Так точно. С Туреччины прибывши. Там посреде турков проживаем. Веру токмо православну блюдем.

– Вы не волнуйтесь. Потом все подробно расскажете Его Святейшеству. Ему это будет очень интересно узнать, – тихим голосом успокоил Ивана Игнатьевича отец Анемподист и открыл перед ними красивую резную, окованную красной медью дверь.

Они вошли в длинный сумеречный коридор. Священник торопливо обогнал их и открыл перед ними дверь в небольшую комнатку с мягкими диванами по углам. На широком подоконнике в фаянсовом вазоне стоял фикус и еще несколько комнатных цветов. Стены тоже были украшены цветами: живописными натюрмортами с диковинными папоротниками, подсолнухами и гроздьями красной калины.

– Присядьте здесь! – предложил им священник и скрылся за высокой дубовой дверью. В комнате стояла неземная тишина, и воздух был напоен пряными запахами ладана.

Ждать им пришлось недолго.

Снова, но теперь уже медленно и торжественно, отворилась большая дверь, и прозвучал голос невидимого, но уже знакомого им отца Анемподиста.

– Войдите!

Кольцов неторопливо поднялся, Иван Игнатьевич вскочил так, будто его ужалило одновременно десяток диких пчел. Поплевав на ладони и пригладив топорщащиеся волосы, Иван Игнатьевич почему-то на носках своих щеголеватых сапог и пригибаясь как-то нелепо, словно крадучись, двинулся за Кольцовым.

Посреди большой комнаты со сводчатыми потолками и розовыми стенами стоял патриарх Тихон. Невысокий, широкоплечий, с длинными белыми волосами и с такой же белой бородой, в своем черном домашнем просторном подряснике он был похож на пожилого крестьянина. Встретил он их приветливой, едва заметной улыбкой.

Отец Анемподист отрешенно сидел в дальнем углу приемной. Он словно выключил себя, не вслушивался в то, что происходит в приемной, и лицо его не выражало никаких эмоций.

Иван Игнатьевич торопливо подался вперед и упал перед патриархом на колени. Тихон протянул к нему руки, и Иван Игнатьевич, заливаясь тихими счастливыми слезами, стал истово их целовать.

– Ну, буде! Буде! – остановил его патриарх и снова осенил Ивана Игнатьевича крестным знаменiem.

Стоя неподалеку от патриарха, Кольцов почувствовал какую-то неловкость. На мгновение подумал: не обидеть бы старика. Может быть, следовало бы из приличия преклониться перед патриархом, как преклонялись в детстве перед священником, когда ходили по воскресеньям с родителями в церковь. Но тут же отбросил эту мысль. Лишь слегка поклонился, как здороваются с пожилым человеком.

– Здравствуйте, Ваше Преосвященство! – сказал он. – Я здесь всего лишь сопровождающий.

– Знаю. Меня известили, – и указал глазами на диван: – Присаживайтесь.

Сам же патриарх уселся в глубокое кожаное кресло и неторопливо стал перебирать четки, как бы подчеркивая, что сам никуда не спешит и их нисколько не поторапливает... Спросил у Кольцова:

– Ваш знакомый, сказали мне, прибыл к нам из заграницы? – и затем перевел взгляд на Ивана Игнатьевича, спросил у него: – Откуда же прибыли? Из каких краев?

Иван Игнатьевич вскочил с дивана:

– Из Туреччины прибывши, Ваше Преосвященство!

– Да вы сидите! – попросил патриарх Ивана Игнатьевича. – Не ближний свет. И ради чего, позвольте узнать, вы такой путь сюда, к нам, проделали?

– Вишь ли, церква у нас осиротела. Отец Иоанн в прошлом году по хворости телесной престависи. И село наше тоже все одно як примерло. Сколь за энто время невенчанных, некрещеных, семь душ неотпетыми по чину на той свет уйшли. Непорядок энто.

– Непорядок, – согласился и Тихон. – А что, нигде вокруг нет священников? Сёла-то, поди, поблизости есть?

– Нету поблизу. На той стороне, за Красным морем, есть много православных сёл. И на Маньясе, и возле Апольонта, и возле Изника – энто все озера рыбные. За то, поди, им те земли приглянулись. А нам тут, на Гейском море, любо. Тут и остались, – пространно объяснил Иван Игнатьевич.

– И что, никто из священников не захотел к вам?

– Не уговорили, видать. Не сумели. И то сказать: мы там як в медведьском краю обитаем. Токмо и медведи у нас отродясь не водятся. Из дикого зверя токмо зайцы, и тех обмаль.

– А людей в вашем селе много?

– Душ триста, можа, чуток поболее. Церква в праздники всегда была битком. А счас – така, вишь, беда.

– Может, с Афона кто согласился бы?

– Ходил я на Афон, не нашел до нас согласных. И до патриарха в Константинополь, было дело, ходил. И чё? Вишь, како дело. Мы расейские, православны, а у их, видать, друга вера, до нашей не клеится. Меня до яго даже пред очи не допустили. Мы яму, патриарху константинопольскому, без интересу. У яго свои люди, им радеет.

Иван Игнатьевич вдруг замер, зачем-то испуганно пощупал карманы пиджака, но затем, посветлев лицом, торопливо сунул руку за пазуху, достал оттуда холщевую торбочку и бережно извлек из нее порядком потертое атаманское письмо.

– Во! Не утерять! – счастливо сказал он. – Тебе, благодетель, наш сельский атаман Григорий Силыч свою слезну мольбу шлеть. Всем сельским обчеством с великою печалью писали.

Отец Анемподист прошел со своего угла, принял от Ивана Игнатьевича письмо, долго в него вчитывался. Разобравшись, прочитал вслух:

– «Ваше Преосвященствие! Отець родный! На милосць твою уповають несчастны православны сироты села Нова Некрасовка, шо на Гейском мори обитаеца. Бога ради, не оставляйтя нас сирых, худых и забытых на чужеземной Туреччине. Оу нас отець Иоанн престависи бизизика и нам никакова ответу не дал. Вас Богим молим не забытя нашу сырую церкву, а нас тож не забытя. Бога ради для свяченика оу нас диакон есць Иван сын Игната Мотуза. Толкя пыстынывлять молим вас для православных душ. И колени преклоняють усе Вашему Преосвященствию».

Закончив слушать, патриарх сказал:

– Отчаянное в своей безысходности письмо. Однако же трогательное. Надо подумать.

Патриарх опустил голову и долго сидел так, молча. Отец Анемподист присел за спиной патриарха, продолжая держать в руках послание атамана Новой Некрасовки.

Стояла такая тишина, что жужжание отогревшейся после зимы и бившейся в оконное стекло мухи казалось оглушительным.

После длительного молчания патриарх вновь поднял глаза на Ивана Игнатьевича:

– А вы, стало быть, дьяконом при храме состояли?

– Дьяконом, дьяконом! – снова подхватился с дивана Иван Игнатьевич, но тут же сел. – И татко мой паламарем в нашей церкви состояв. И мамка тож: первая на клиросе. Меня завсегда с собой водила.

– Ну что ж! Ну что ж! – патриарх в задумчивости нервно постучал пальцами по деревянному подлокотнику кресла. Снова испытующе посмотрел на Ивана Игнатьевича:

– А скажи, сын мой, Псалтырь знаешь?

– Як не знать? С малых годков читаю. И молитвы, и акафисты, и тропари. И во здравие, и за упокой. Почитай, весь Псалтырь на зубок вывчил.

– Ну и прочти нам что-нибудь из того, что ты там, у себя на службе, читаешь, – попросил патриарх.

– Шо скажете?

– Да что тебе самому хочется. Ну, почитай, к примеру, Покаянный канун.

– Усе девять песней? – спросил Иван Игнатьевич.

– Четвертую песню прочти.

Иван Игнатьевич встал, воздел глаза к потолку. Пару раз тихо, в кулак, откашлялся. Какое-то время постоял молча, сосредоточиваясь, и затем громко речитативом запел:

– «Широк путь zde и угодный сласти творити, но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатися будет: блюдися от сих, человеце. Царствия ради Божия...»

Голос у Ивана Игнатьевича был чистый, баритональный, с красивыми обертонами, которые придавали его чтению необъяснимую притягательность. Было даже странно, что в таком тщедушном теле хранится такой голос.

– «Почто убогого обидиши, мзду наемничу удержиши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, – продолжал Иван Игнатьевич. – Остави убо сия, душе моя, и покаяйся, Царствия ради Божия...»

– Достаточно! – кивнул патриарх и обернулся к отцу Анемподисту. – Велите приготовить к завтрашней утренней службе.

Отец Анемподист подошел к патриарху, наклонился, но сказал так громко, что услышали и Кольцов с Иваном Игнатьевичем:

– Я подумал, может, в воскресенье, в храме Христа Спасителя?

– Нет! Завтра же! – не согласился патриарх. – В нашей Крестовой. Малым чином.

Вскоре они тепло простились с патриархом.

Провожал их к калитке отец Анемподист. Он со вздохом оглядел по-хозяйски бродящих по подворью красноармейцев, обратил внимание на костер, горящий неподалеку от калитки. Над костром теперь уже висел казанок, видимо, красноармейцы варили себе ужин.

Неожиданно священник обратился к Кольцову:

– Прошу прощения за неудобный вопрос. Если вы, конечно, позволите его вам задать.

– Я вас слушаю, – несколько удивился Кольцов. Он знал: после того как советская власть объявила церковь отделенной от государства, священнослужители тоже стали отчужденно относиться к мирским учреждениям, стремились не вступать с ними ни в какой контакт. Кроме редких исключений. Кольцов же был высокопоставленным сотрудником ВЧК, о чем, конечно, не мог не знать отец Анемподист.

– Вопрос такой. Недавно ваш комиссар Хрусталеv совершал у нас обыск и унес с собой – изъял, реквизирует – не знаю, как это назвать, две патриарших панагии, на престольный крест и митру. С восемнадцатого века эти ценнейшие православные реликвии числились за нами. Но Хрусталеv сказал, что провел следствие и выяснил, что все это нами было похищено в Чудовом и Вознесенском монастырях. Скажите, можем ли мы надеяться, что каким-то случаем нам все это еще удастся вернуть?

Вопрос был тупиковый. Кольцов не ожидал такого. И, главное, так решительно, откровенно и в лоб. И поэтому не сразу нашелся с ответом. Он стал торопливо размышлять, как

бы точнее ответить священнику и при этом не обидеть его. Кольцов понимал, что, вероятнее всего, это было обыкновенное воровство. Суть была лишь в том, с чьего посыла все это было совершено: мелким чиновником-грабителем или высокопоставленным вором-коллекционером. С чиновником можно было побороться, припугнуть, доложить в партиячку. С высокопоставленным вором бороться нельзя. У него имелся документ на его личную неприкосновенность и на неприкосновенность всего им награбленного.

Отец Анемподист понял затруднение Кольцова и деликатно поспешил ему на помощь:

– Я, конечно, понимаю: лес рубят... – заканчивать эту всем известную поговорку он не стал.

– До какой-то степени дело и в этом. Когда рубят лес, всегда найдутся те, кто отнесет себе на растопку одну-две вязанки хвороста, а иной и бревнышко укатит. А для высокопоставленного чиновника весь лес в округе повалят и к дому свезут. А то и домишко бесплатно поставят. Потому, что высокопоставленный. Кем? Он и сам порою этого не знает.

– Грустно рассуждаете, – сказал отец Анемподист. – Полагаете, что все это безвозвратно?

– Ничего не могу вам обещать, кроме одного. Я обязательно об этом доложу своему руководству. Фамилию грабителя я тоже запомнил: Хрусталеv. А уж что из этого получится, сказать вам не могу. Все зависит от того, насколько высоко взлетел этот ваш Хрусталеv. Уже появились такие орлы, до которых трудно дотянуться. Извините, но, к сожалению, это правда.

– Да благословит вас Господь, добрый человек! – сказал отец Анемподист и обернулся к Ивану Игнатьевичу: – Значит, завтра к утренней службе. Встретимся здесь же, красноармейцев я предупрежу.

– Приду, как жа! Тако счастье! – утирая слезы, сказал Иван Игнатьевич.

Кольцову показалось, что он только уснул, как его уже начал тормошить Иван Игнатьевич.

– Будя спать, Павло Андреич! На тому свети досыта отоспимся.

– Ну что ты такой неугомонный! Ночь на дворе! – не открывая глаз, сонным голосом проворчал Кольцов.

– Кака ночь! Уж третьи петухи отпелись.

Кольцов понял, что Иван Игнатьевич от него уже не отстанет, пока не добьется своего. Он свесил на пол босые ноги, сел.

– А вот врать, Иван Игнатьич, не годится. Нету в Москве петухов. Всех съели.

– Есть! Можа, один всего! – заупрямился Иван Игнатьевич. – Недалеко тут обитает. Горластый!

– Ну и пусть бы пел! А ты бы тем временем поспал, – зевнул Кольцов. – И тебе хорошо, и другим бы не мешал.

Но Иван Игнатьевич уже заканчивал одеваться, наводил блеск на своих сапогах.

Кольцов понял, что хоть немного поспать ему уже не удастся и хочешь – не хочешь, а надо вставать. И он стал неторопливо одеваться.

– А мог бы и пошустрей! – подгонял Кольцова Иван Игнатьевич. – А то придем, кода последнюю молитву отпоють.

– Успеем, – сердился Кольцов. – Утренняя же служба!

– Ага! Утро у усеx разно! – не отступал Иван Игнатьевич. – Стануть ане нас дожидаться! Как жа!

Как и предполагал Кольцов, они пришли намного раньше. Вынуждены были долго стучать в калитку. Наконец явился сонный часовой. Он был предупрежден, но во двор их не впустил. Лишь коротко сказал:

– Ждите! – и удалился.

Светало. На горизонте стали прорисовываться силуэты домов. Было холодно и сыро. Часовой все не возвращался. Они терпеливо ждали, Кольцов продолжал сердиться на Ивана Игнатьевича: время от времени мрачно на него поглядывал.

Наконец пришел отец Анемподист, поздоровался и велел следовать за собой. Теперь они к знакомому крыльцу не пошли, а обошли здание почти вокруг и вошли в крохотную комнатушку.

– Здесь можете разоблачиться.

После того как они сняли с себя верхнюю одежду, отец Анемподист открыл перед ними тяжелую дубовую дверь, она тоже была красиво инкрустирована. Это была даже не дверь, а настоящие царские врата. Они вошли.

– Наш домовый храм, – объяснил отец Анемподист и затем сказал Ивану Игнатьевичу: – Даже не упомню, чтобы мы проводили здесь таинство хиротонии. Патриарх великую милость вам оказывает.

Храм был небольшой, но уютный. Его своды устремлялись вверх и где-то там, куда не доставал свет, сходились в одной точке. Пахло ладаном. Света было немного, горело лишь свечей десять. Лампадные огоньки у икон света не добавляли.

Едва войдя в храм, они услышали негромкий торопливый голос проводящего службу священника:

– Восставшие от сна, припадаем ти, Блаже, и ангельскую песнь вопием ти, сильно: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас!

Читая молитву, священник то уходил из светлого круга в сумерки храма, то снова возникал на свету, у иконостаса..

– Слава: от одра и сна воздвигл мя еси, Господи, ум мой просвети и сердце, и устие мое отверзи...

Привыкнув к полумраку, они увидели справа от себя молящихся монахов. Еще дальше – группку келейников.

Кольцов внимательно наблюдал за всем происходящим во храме. Иван Игнатьевич истово молился.

Спустя какое-то время к ним снова приблизился отец Анемподист.

– Вы подождите здесь, – тихо сказал он Кольцову, а Ивана Игнатьевича взял за руку и повел с собой.

В сумеречном свете Кольцов с трудом увидел, как они прошли к алтарю, как открылась маленькая боковая дверь и отец Анемподист ввел Ивана Игнатьевича в ярко освещенный алтарь.

Ждать пришлось долго. Кольцову показалось, что стоящие в ряд несколько иереев прочитали уже все молитвы и все каноны, и все тропари Псалтыри, а Иван Игнатьевич все не возвращался.

Двое монахов, выступивших из темноты, зажгли еще по несколько свечей, и в храме стало светлее. Монахи, стоящие справа от Кольцова, и слева стоящие келейники разом со стоящими у алтаря священниками дружно запели благодарственную молитву.

Медленно и торжественно открылись алтарные ворота, и через них в храм вошел патриарх. Он вывел кого-то с собой и поставил его в ряд со стоящими вдоль алтаря священниками.

Хор закончил петь благодарственный молебен. Службу стал править патриарх. Голос у него был слабый, читал он тихо. Продолжая читать молитву, он прошел вдоль ряда священников и остановился возле того, которого только что вывел. Коротко взглянул на него. И тот, несколько выступив вперед, подхватил и продолжил молитву, начатую патриархом.

И Кольцов узнал этот удивительный баритон. Он слышал его вчера, там, в приемной у патриарха. Здесь, в храме, с его высоким потолком, голос приобрел еще большую мощь,

свежесть и чистоту. Он то взмывал вверх, взлетая к самым высоким нотам, то вдруг обрушивался вниз и звучал трубно, басовито.

Кольцов с трудом узнал Ивана Игнатьевича. Он был в священническом облачении: в черном подряснике с камилавкой на голове. Его голос, казалось, заполнил все пространство храма.

Даже священники, присутствующие на утренней службе, давно не слышали подобного голоса. Стоящие в ряд, они удивленно переглядывались.

Потом снова читали молитвы священники – то хором, то соло. И каждый раз, когда подходила очередь Ивана Игнатьевича, он вступал безошибочно и четко. И Кольцов, слышавший многих хороших певцов, неожиданно подумал, что Иван Игнатьевич обладает поистине уникальным певческим талантом.

Вероятно, об этом же подумал и патриарх Тихон, потому что, вопреки всему, он закончил последнюю молитву вместе с Иваном Игнатьевичем.

Провожал их с патриаршего подворья снова отец Анемподист.

Иван Игнатьевич не переоделся, он так и остался в своем новом священническом облачении. Вышагивая рядом с отцом Анемподистом в своем новом длинном подряснике, из-под которого едва выглядывали носки его фасонистых сапог, он нес в руках завернутый в холстинку сверток.

– Это что у тебя? – Кольцов указал глазами на сверток.

– Шо, шо? Знамо, шо! Моя одежда, можа ишшо спонадобится. До дому-то добираться надоть.

– Ну, надо! – согласился Кольцов.

И Иван Игнатьевич пояснил:

– Дорога далека, колготна. Пошто я свяченное облачение стану трепать без надобности? То-то! А дома одену, скажу: сам Его Святейшество Патриарх Тихон лично мне подарив. И ще скажу, шо он сам лично меня в свяченики рукоположив.

Прошли через калитку на улицу, остановились.

– Скажите, – обратился Кольцов к отцу Анемподисту. – И что же, теперь Иван Игнатьевич может там, у себя дома, службу в церкви править?

– И не только, – ответил священник. – Это была не просто утренняя молитва. Патриарх провел таинство хиротонии и ввел Ивана Игнатьевича в сан иерея. И с нынешнего дня он больше не Иван Игнатьевич, а отец Иоанн.

– И бумагу дали, – Иван Игнатьевич похлопал себя по груди, где теперь вместо письма атамана Григория Силыча лежал в полотняной торбочке документ, подписанный патриархом, что отец Иоанн (Мотуз) является иереем российской православной церкви.

Отец Анемподист вздохнул:

– Сожалею, креста подходящего не нашли. Видать, тоже... при обыске...

– Попытаемся как-то поправить дело, – пообещал Кольцов. – Подыщем.

– В очередной церкви? – насутился отец Анемподист. – При обыске?

– Нет, конечно, – без обиды ответил Кольцов. – Понимаю вас. Но не переносите свою обиду на все наше ведомство. Не будь его, поверьте, в стране творился бы хаос и полавальные грабежи.

– Уже творятся. На Кубани люди восстали. В Тамбове тоже. В Кронштадте...

– Вы хорошо осведомлены.

– Так ведь в одном ковчеге плывем. А море штормит, и не видно берега.

– После такой войны трудно было бы сразу ждать полного штиля – прибегну к вашему сравнению. Это как бросить в воду камень. Взбурлит вода, а потом еще долго колышется, пока успокоится. Да ведь уже и успокаивается. Верно, и вы это замечаете?

– Мы – нет. Даже наоборот. И, похоже, скоро еще хуже будет.

Кольцов промолчал. Он не стал спорить. Понимал: обида, нанесенная патриарху комиссаром Хрустальевым, не скоро загладится. И загладится ли?

Они попрощались. Кольцов по мирской привычке или, скорее всего, по забывчивости протянул руку отцу Анемподисту для рукопожатия, и тот неожиданно принял ее.

– Вы показались мне порядочным человеком, – пожимая руку Кольцова, сказал он. – Если бы таких, как вы, было побольше, еще на что-то светлое можно было бы надеяться.

– Спасибо на добром слове, отец Анемподист, – сказал Кольцов и затем добавил: – А я верю... нет, я абсолютно убежден, что честных и порядочных людей на нашей земле все же большинство. И я не сомневаюсь, рано или поздно мы одолеем этих хрустальных.

Отец Анемподист перевел взгляд на Ивана Игнатьевича:

– Прощайте и вы, отец Иоанн. Рад нашему такому необычному знакомству. Буду вспоминать и молиться за вас.

Они уходили. Прежде чем свернуть за угол, Кольцов обернулся и увидел все еще стоящую вдали одинокую фигурку отца Анемподиста. Заметив, что Кольцов обернулся, священник послал им вслед свое благословение.

Глава третья

На следующий день Гольдман показал Кольцову его собственный кабинет. Скромная комнатка располагалась на первом этаже одного из самых старых домов Лубянки среди сложного лабиринта нескольких зданий ВЧК. Кольцов критически осмотрелся: комнатка за ненадобностью давно пустовала или служила какому-то начальству для временного пребывания – пока приводили в порядок новый кабинет в одном из основных зданий. Здесь все было старое: старый, заляпанный чернильными пятнами канцелярский стол, дешевенькие стулья для хозяина кабинета и двух его посетителей – больше посетителей здесь не предполагалось. И еще примитивная вешалка у самой двери. Даже телефона здесь не было: не полагается или не успели поставить. И еще в полстены за его спиной висела большущая карта «Российских императорских железных дорог».

– Ну, а это еще зачем? – указав на карту, Кольцов насмешливо посмотрел на Гольдмана.

– Как это «зачем»? Я тебя, Паша, хорошо знаю. На одном месте долго не усидишь. Понадобится тебе, к примеру, в Омск, Томск или в какую-никакую там Голозадовку. Глянул на карту, и уже знаешь, ходят ли туда поезда, сколько туда верст, как долго ехать. И вообще! – даже слегка рассердился Гольдман: – Зайди к любому начальнику, у каждого на стене что-нибудь висит, какая-нибудь фитилька. А у тебя, чувствуешь, вся Россия за спиной! Какой масштаб личности!

– Чувствую! Очковтирательство. Афера. Сегодня, к примеру, личность будет добывать обычный поповский крест для Ивана Игнатьевича, потом попытается что-то выпросить для типографии, хотя бы килограммов пятьдесят белой милованной бумаги, потом... потом будет сочинять текст листовки, которая пойдет потом начальству на утверждение. А начальство не сразу ее утвердит, а заставит десять раз ее переписать, и не потому, что она плохо написана, нет. А лишь для того, чтобы доказать личности, что она пока никакая не личность. Безо всяких объяснений. А ты, Исаак Абрамыч, о масштабе личности! Словом, сними, к свиньям, эту карту и повесь что-нибудь скромнее, какие-нибудь цветочки.

– Цветы не положено, – не согласился Гольдман. – Вождей мировой революции можно. Только у нас на складе никого нет. Прислали шесть Карлов Марксов, тут же расхватали.

– Ну какого-нибудь другого повесь. Менделеева, Шерлока Холмса. На крайность даже Навуходносор.

– Тут такое дело, Паша, – замялся Гольдман, чувствуя, что Кольцов настойчиво и упрямо отвергает карту. – Я говорю, тут не все так просто. Портреты, понимаешь, маленькие, а стена большая.

– Ну и в чем проблема?

– Не то чтобы проблема, – жевал слова Гольдман и наконец решил: – Тут, понимаешь, кусок стены изуродованный. Был вмурован сейф, его выломали, а стену... ну не успели. А Герсон получил нагоняй от Феликса Эдмундовича. Приказал, что б сегодня же у Кольцова был кабинет.

– С этого бы и начинал, – понял затруднение Гольдмана Кольцов. – Ладно! Пусть висит!

– А про крест ты чего вспоминал? – у Гольдмана отлегло от сердца, и он решил поговорить с Кольцовым просто ни о чем.

– Не мне. Гостю нашему. Он у нас теперь иерей, их словами: священник, – пояснил Кольцов. – Кстати, можешь у него исповедаться. Все грехи по знакомству отпустит.

– У меня для этого Фрида Марковна есть. Я ей иногда исповедуюсь. Тоже отпускает, – и затем Гольдман поинтересовался: – А не подскажешь, какой крест ему нужен?

– Слушай, ты начинаешь деградировать. Я тебе рассказываю: нашему гостю присвоили звание. Как бы тебе это объяснить: не самое высокое в их православных войсках, но все же

офицерское. Был дьякон, это что-то вроде сержанта. А теперь ему офицерское – иерей. И нужен соответствующий званию крест. А у патриарха ничего такого не нашлось. Я пообещал достать.

– Ну, и в чем дело! – удивился Гольдман. – Через пару часов у него будет крест. Кстати, а какой нужен: золотой, серебряный?

– Лучше всего медный. Дорога у него дальняя. За золотой или серебряный и убить могут, – и Кольцов спросил: – А где ты его достанешь?

– Секрет фирмы.

– Не вздумай только, пожалуйста, в каком-нибудь храме реквизировать.

– Ты плохо обо мне думаешь, Паша. Зачем мне грабить, если уже есть награбленное. В Гохране, у Юровского.

– Юровский что, все еще в Гохране?

– А куда он денется?

– Должен бы повеситься. Детей ведь расстреливал.

– Вот тут ты, Паша, положим, не совсем прав. Я тоже не люблю Юровского за его паскудный характер. Но закавыка в другом: дети-то царские.

– Дети, они дети и есть. Чьи бы они ни были. Они еще не успели ни перед кем ничем провиниться.

– Рассуждаешь, как гувернантка. Выросли бы – натворили дел. Нет, Паша, тут я не на твоей стороне.

– Ну и ладно. Хорошо, что тебе столько власти не дадено, как тому же Юровскому Ты бы, возможно, еще больше чего натворил.

Гольдман заметил, что Кольцов нахмурился, замолчал.

– Ну, чего ты! – примирительно сказал он. – Юровский сам за свои грехи и ответит. Если есть Бог – перед ним. А нет – перед людьми. Люди ничего не забывают.

Кольцов продолжал молчать. Гольдман немного потоптался в кабинете, подошел к карте, отогнул край. Кольцов заметил под нею неглубокую, но грубо развороченную нишу.

– Знаешь, если тебе эта карта не по душе, я тут, в кабинете у Ходжакова, приметил большой портрет Льва Давыдовича Троцкого. Он, пожалуй, это безобразие прикроет, – попытался примириться Гольдман с Кольцовым: – Я у него сегодня же этот портрет выменяю.

– Не трожь карту! – сухо сказал Кольцов.

– Хотел как лучше.

– Не надо как лучше.

– Ну, как знаешь. Так я пошел, – Гольдман дошел до двери, обернулся: – Так я это... пошел добывать тебе крест.

– Зачем тебе самому идти? Бушкина отправь, – подобрел Кольцов. – Он этот Гохран вдоль и поперек знает. Их со Старцевым там конспирации учили. Это когда их в Париж командировали.

– Бушкина я отправил в Мытищи.

– Зачем?

– Все хочешь знать? В моей хозяйственной работе тоже кое-какие секреты водятся. Не могу разглашать.

– И не надо! Не больно хочется в ваши секреты вникать. Своих по горло, – Кольцов уселся за стол, положил на него локти. Неудобно. Пододвинул стул поближе. Снова уселся. Дотянулся до чернильницы, обнаружил возле нее перьевую ручку. Макнул перо в чернила. Пробуя перо, вывел на четвертушке бумаги красивым каллиграфическим почерком: «Милостивый господинь...» Немного поразмышлял. Заметил, что Гольдман краем глаза из-за плеча наблюдает за его манипуляциями, он снова обмакнул перо и размашисто продолжил: «...и товарищ Гольдман И.А. А не пошли бы вы к...»

Гольдман, прочитав написанное, понял, что Кольцов сменил гнев на милость.

– Хулиган! – улыбаясь, сказал он и поднялся: – Ухожу! Но совсем не туда, куда ты хотел меня послать.

– А ты знаешь куда?

– Догадываюсь.

И он ушел.

Когда Кольцов остался один, он снова повертелся на стуле, как бы утверждая себя на нем. Снова положил на стол локти и так, в задумчивости, застыл. На мгновение подумал о том, что кончилась его молодость, кончилась боевая, опасная, но такая насыщенная событиями интересная жизнь. Теперь до конца своих дней он будет сидеть в этом или подобном кабинете и решать какие-то мелкие и бессмысленные дела, возможно, ссориться и спорить из-за них. А еще он время от времени будет с завистью поглядывать на карту с такими притягательными для него названиями, как «Севастополь», «Феодосия», «Херсон», «Каховка». Или же с малознакомыми, но оставшимися на слуху и ставшими мечтой: «Царицын», «Екатеринбург», «Омск», «Кронштадт». Где-то там будут хлестать колючие ветры, носиться пронзительные метели, бушевать ливневые дожди... Там будет жизнь! А здесь, в тесной коморке, – сиротливое одиночество и тихое умирание.

Разложив на столе чистые листы бумаги, Кольцов снова потянулся к ручке и, немного помедлив, отложил ее. Достал из кармана подаренную ему Дзержинским газету «Правда», нашел нужную статью, подписанную А. Евдуком. Кто такой А. Евдуков, он не знал, но подумал: раз ее поместили на страницах «Правды», вероятно, она утверждена ВЦИКом. Но тут же подумал, что в статье нигде не ссылаются на ВЦИК. Скорее всего, это точка зрения А. Евдука. Вот он пишет:

«Тысячи людей, не являющихся классовыми врагами пролетарской власти в России, в силу случайных причин оказались за ее рубежами: часть из них – по прямому принуждению, так как всем известен факт увода крестьян и жителей прифронтовой полосы белыми войсками; часть – испугавшаяся принудительной мобилизации; часть – в силу белогвардейской агитации или ошибочной веры в возможность остаться в стороне от борьбы. Всех случаев пересчитать невозможно, но для меня важно отметить ту категорию лиц, которая, во-первых, не является нашим классовым врагом, во-вторых, в настоящее время после всего испытанного искренне стремится в Россию, честно решив работать для ее блага»...

Кольцов просмотрел всю статью: скучно, косноязычно и неинтересно. Если листовки писать таким языком, никто не поверит ни единому их слову. Из прочитанного он сделал вывод: листовки должны быть короткими и убедительными. Как этого добиться, Кольцов не знал, и все же решил попытаться. Он снова обмакнул ручку в чернила и вывел первую строку:

«Рабочим и крестьянам!..»

Затем вычеркнул «и», вместо нее поставил запятую и продолжил:

«... и всем, кто независимо от причин покинул свою Родину – Россию! Дорогие товарищи...»

Потом он подумал о том, что далеко не всех их можно назвать товарищами. Да и вернуться домой, в Россию, он собирается звать не только товарищей, не только тех, кто сочувствует новой власти, а всех, кто оказался на чужбине и понял, что жить там не сможет, но и возвращаться домой боится. Слишком хорошо поработала белогвардейская пропаганда и сумела вселить в их души страх. Он же хочет позвать вернуться домой всех, кто считает Россию своей Родиной и не мыслит без нее своей жизни.

Он вычеркнул слово «товарищи» и поверх него написал «земляки».

Прежде чем начать писать текст, он долго ходил по своему крошечному кабинету.

Кто-то распахнул его дверь и удивленно уставился на него:

- А Сидоровский? Где Сидоровский?
- Не знаю, – пожал плечами Кольцов. – Должно быть, его переселили в другой кабинет.
- А коробку с «Домино» он тут, случайно, не забыл?
- Не видел.
- Если обнаружите, передайте их Маслову. Собственно, Маслов это я и есть.
- Обещаю. Обязательно верну.

Дверь захлопнулась.

Кольцов снова сел за стол и еще долго держал перо, занесенное над листом бумаги. Затем стал решительно писать:

«Окончилась Гражданская война, и на всей территории России прочно и навсегда установилась рабоче-крестьянская власть. Тысячи и тысячи российских граждан, не являющихся убежденными классовыми врагами пролетарской власти, в силу самых разных причин оказались на чужбине.

Настало время изменить отношение ко всем, вынужденно оказавшимся в изгнании...»

Он снова походил по кабинету и, не присаживаясь, навис над частично исписанным листком и торопливо продолжил:

«В настоящее время, когда Советская Россия приступает к строительству новой хозяйственной жизни, везде, во всех отраслях производства, в городе и в деревне нужны ваши руки!..»

Текст листовки давался Кольцову мучительно трудно. Он снова ходил по кругу вокруг стола, с трудом изобретая убедительные слова об амнистии.

«Собственно, а чего тут придумывать? – успокаивал он сам себя. – Нужно просто довести до читающего листовку человека главную мысль о том, что Советское правительство объявляет амнистию всем гражданам. Всем, без исключения. Виноватым и невиновным. Всем, кто после перенесенных испытаний искренне стремится в Россию. Если, конечно, они твердо решили включиться в строительство новой жизни».

Но тут же его одолели сомнения:

«Это все же только слова. А нужны гарантии. Причем самого высокого, правительственного уровня. Скажем: ВЦИКа. Только такой гарантии люди могут поверить. Но такой гарантии у них пока нет. Даже Дзержинский засомневался, возьмет ли ВЦИК на себя такие обязательства... Если же таких гарантий не будет, стоит ли ввязываться в это предприятие? Чтобы не выглядеть потом козлом, который ведет стадо на бойню».

И он решительно написал:

«ВЦИК заранее объявляет, что никто, подчеркиваем никто, добровольно вернувшийся на Родину, не будет подвергнут репрессиям».

Кольцов решил: если эти строки о гарантиях ВЦИКа будут каким-то способом из листовки изъяты, это станет сигналом ему сворачивать свою самостоятельную публицистическую деятельность и любым способом избегать ее. Он хорошо помнил Зотова. Таких, как он, не единицы. Они в своей злобе могут свободно пустить «под тройки» всех тех, кто вернется, поверив листовкам.

Кольцов еще несколько раз возвращался к своему сочинению, вычеркивал какие-то слова, дописывал другие.

Во второй половине дня он отдал все им написанное, тщательно отредактированное и выверенное машинисткам и уже отпечатанный текст отнес помощнику Дзержинского Герсону.

– Пусть Феликс Эдмундович ознакомится. Если у него не будет никаких замечаний, он обещал подписать это во ВЦИКе. Лучше, если подпишет сам Ленин.

– Вы многого хотите, Павел Андреевич! Ленин у нас один, а важных дел – горы. Может быть, Троцкий? Амнистия бывшим белогвардейцам, это все же по его ведомству.

– Нет-нет! Ленин! – настойчиво попросил Кольцов.

Герсон бегло прочитал текст, поднял глаза на Кольцова:

– Сами сочинили?

– А что? Плохо?

– Наоборот. Вы прирожденный публицист. Все убедительно, ни одного лишнего слова.

– Спасибо за поддержку.

– Думаю, Ленин согласится с Феликсом Эдмундовичем.

Кольцов ушел.

Вторую половину дня он посвятил поискам типографии. После самоликвидации Южного фронта Фрунзе за ненадобностью отправил ее в Москву, и в конечном счете она оказалась на Лубянке. Но ни вхозуправлении, где, по идее, она должна была находиться, ни в других отделах о ней никто ничего внятно не говорил. Везде, к кому бы Кольцов ни обращался, ему отвечали:

– Слышали. Но где она сейчас, не знаем.

Наверняка что-то о ней знал Дзержинский, но он едва ли не с утра уехал по делам, и Герсон не знал, вернется ли он вечером на Лубянку или сразу же уедет домой.

По поручению Дзержинского типографию принимал у представителей Южного фронта бывший начальник ХОЗУ Кашерников, но его вскоре откомандировали по каким-то делам в Швецию. Кажется, закупать паровозы. И так получалось, что прояснить судьбу типографии может только Дзержинский.

Герсон, которому Кольцов уже порядком намозолил глаза, вдруг что-то вспомнил:

– А в нашей типографии ВЧК вы не наводили справки: может, они что-то знают?

В самом деле, почему он сразу же не подумал о печатниках ВЧК? Ее они просто могли присоединить к своей типографии или отдать кому-то за ненадобностью.

Но выяснилось, что типография ВЧК находится едва ли не на самой окраине Москвы, в районе Ходынского поля. Быстро туда съездить не удастся, и Кольцов перенес поиски следов типографии на следующее утро.

Уставший и злой после бессмысленных хождений по кабинетам и впустую потраченного времени, он возвращался по внутреннему двору Лубянки к себе в кабинет.

– Боже мой! Павел Андреевич? – услышал он за своей спиной чей-то голос.

Обернулся и увидел давнего знакомого, портного спец-ателье Беню Разумовича.

– Нет, подумать только! Вы четыре дня здесь. Нет, таки пять. И мы ни разу не встретились. Кого не хочешь видеть, так видишь пять раз на дню, а кого хочешь – так нет. К слову сказать, вы получили от меня небольшой презент? Простынки, пододеяльники, полотенца, носовые платки?

– Да, я вам очень благодарен.

– Вот! Это то самое главное для мужчины, который уже намерен жениться.

– Кто? – удивился Кольцов.

– Но мне сказали, что вы получили квартиру? Или это неправда?

– Получил, – согласился Кольцов.

– Тогда, возможно, меня обманули, что вы все еще не женат?

– И это правда.

– Так слушайте меня внимательно. Вы уже в том возрасте, когда надо жениться. Возможно, вы тянули бы с этим, если бы у вас не было приданого. Но, слава богу, оно у вас есть. И квартира тоже. Попомните мое слово, к осени вы уже будете очень счастливы. Вы поняли мой намек? Кстати, я вас очень часто вспоминаю. И Мира тоже.

– Ну, как там, в Париже, ваши братья? Надеюсь, они процветают? – перевел разговор Кольцов в другую плоскость.

– Какой еврей скажет вам, что он процветает? И знаете почему? Сколько бы денег у еврея ни было, он всегда думает, что у соседа их больше. И это очень портит настроение, – Беня наклонился к Кольцову и, перейдя на полусшепот, сказал: – Надеюсь, это останется между нами.

– Не сомневайтесь, – успокоил его Кольцов.

– И еще по секрету. Я получил от Натана письмо. Его привез какой-то француз. Но он не пожелал мне представиться и бросил его в почтовый ящик. Знаете, такое толстое письмо, что оно с трудом пролезло в ящик. Честно скажу, я подумал, что брат решил поделиться со мною долями. Но там были только фотографии. Двадцать восемь штук: Натан и Исаак, их жены и дети, сваты и сватья и их дети, и их внуки, пусть все они живут до ста лет! Нет, вы мне скажите, разве нельзя было положить между фотографиями хоть немного доляров?

– Ну и зачем они вам? – спросил Кольцов.

– Вот! Они, наверное, подумали так же, как и вы. Зачем? Но я тоже хочу, как всякий приличный человек, хотя бы один раз в неделю сходить в Торгсин.

– Может, у них не было такой возможности. Это все же контрабанда!

– Да, конечно! Когда не хочешь что-то отдать, всегда можно найти какой-нибудь закон. «Контрабанда!» – и, продолжая все тем же сварливым голосом, Беня спросил: – Мне сказали, вы теперь у нас?

– Да. Надеюсь, временно.

– И что за дело вам определили?

– Тупое и бессмысленное: искать то, чего здесь нет.

– Здесь есть все, только надо уметь искать, – уверенно сказал Беня и спросил: – Так все же, что вы ищете?

– Типографию. Там печатный станок, шрифты, краски, бумага – словом, все необходимое для печатания агитлистов.

– Вам это нужно? Я бы вас понял, если на нем можно было печатать деньги, – сказал Беня Разумович. – Нет, ничего подобного я не видел.

Кольцов решил больше не тратить время попусту, откланялся и пошел дальше. Он уже пересек двор и хотел войти в здание, когда его догнал запыхавшийся портной:

– Павел Андреевич, постойте. Вы сказали: бумага.

– Какая бумага? Я говорил о печатном станке, о типографии.

– Нет-нет! Вы сказали: бумага.

– Ну, допустим, я так сказал.

– Не знаю, может, это наведет вас на какую-то мысль, но вон в той пристроечке стоят какие-то ящики. Но дело не в этом. Там еще лежит большой рулон бумаги. Мы ею потихоньку пользуемся, если надо кого-то культурно обслужить и что-то, как в прежние времена, аккуратно завернуть. Слушайте, до чего мы дожили! Соленую рыбу вам дают прямо в руки, крупу насыпают в фуражку.

– Где эта бумага?

– Идемте.

Они вновь прошли в другой конец двора. Это были замусоренные задворки большого учреждения, куда, как водится, сносят и свозят все ненужное, но которым в трудную минуту еще надеются воспользоваться. А потом забывают.

Иными словами, это была обычная свалка местного значения.

Пристройка к сараю походила на большую собачью будку. Дверь была не заперта. Точнее, она была прикрыта, и через одну из двух петель, на которых должен был висеть замок, продета веревка с дощечкой, на которой красовалась сургучная печать. Этот «медальон» существовал сам по себе и к двери имел косвенное отношение.

Беня по-хозяйски распахнул ворота. Первое, что Кольцов увидел в сумерках сарайчика, – большой рулон типографской бумаги. Дальше у стены стояли в ряд три деревянных ящика: большой и два поменьше. Кольцов поискал глазами какой-нибудь кусок железа, которым можно было приподнять доски и узнать, что в ящике.

Не найдя ничего подходящего, он поднял булыжник, с его помощью проломил пару досок и затем запустил в ящик руку. Он долго там что-то ощупывал.

Беня напряженно ждал.

– Она! – наконец выдохнул Кольцов. – Типография.

– Странно! – удивился Беня. – Вы, конечно, уже ходили по городу. Заметили, все афишные тумбы, все телеграфные столбы, даже заборы и стены домом обклеены различными объявлениями. Продают, покупают, ищут работу, женятся, лечат от всех болезней, изгоняют бесов и снимают порчу. Печатный станок, работающий круглосуточно, – это миллионы. А этот валяется на свалке. Нет, это не укладывается в моей голове.

– Может, случайно потеряли. Забыли, – предположил Кольцов.

– Забыли, – хмыкнул Беня. – Миллионеры!

Типографию и верно почти забыли. Когда Фрунзе за ненадобностью отправил ее из Мелитополя в Москву, в ВЧК была своя хорошая типография, и ее мощности вполне хватало. Подаренную Фрунзе решили спрятать до лучших времен. И постепенно, за чередой бесконечного количества дел, о ней забыли. Дзержинский был один из немногих, кто все еще помнил о ней. Но где она находится, он тоже не знал.

Обрадованный Кольцов поднялся к Герсону и рассказал ему о своей находке. Но это было лишь полдела. Нужны были печатники, нужен был метранпаж. Чтобы до конца завершить все дела с типографией, надо было уже сегодня ехать на Ходынку. Кольцов надеялся с кем-то там договориться, кого-то перевербовать и, если с этим ничего не получится, разместить у них свой заказ на первую партию листовок. Герсон поддержал его и даже предложил для поездки на Ходынку автомобиль.

Все оказалось проще простого. Бывших печатников фронтовой типографии вместе с метранпажем не уволили. По распоряжению Дзержинского их оставили в типографии ВЧК. Кольцов познакомился со всеми шестью работниками бывшей фронтовой типографии и с метранпажем – пожилым подслеповатым человеком с интеллигентной бородкой клинышком. До Гражданской войны Александр Иванович Фадеев работал курьером у знаменитого книгоиздателя Сытина, повзрослев, стал работать в типографии и одновременно помогал большевикам-подпольщикам, печатал прокламации, воззвания. А в семнадцатом он оставил сытинскую типографию, но не оставил профессии. Его талант печатника оказался очень востребованным революцией.

Кольцов задал им один короткий вопрос:

– Когда?

– Когда надо? – спросил Фадеев.

– Завтра, – ответил Кольцов.

– Если так надо советской власти, значит, типография начнет работать завтра, – и, подумав, он добавил: – Если, конечно, есть помещение?

Помещение было.

Домой Кольцов вернулся ночью. Его остановили у двери неожиданный шум, смех, голоса. «С кем это так веселится Иван Игнатьевич?» – подумал он и открыл дверь.

В гостиной помимо Ивана Игнатьевича был еще Бушкин и, полная неожиданность, Семен Красильников. Иван Игнатьевич ютился, как и прежде, в облюбованном уголке гостиной, но сейчас на равных со всеми сидел в своем черном облачении за столом, и на его груди медово поблескивал хорошо начищенный медный крест.

Красильников вскочил со стула и обнял Кольцова.

– И опять здравствуй, – весело сказал он.

– Почему – «опять»? – удивленно спросил Кольцов.

– Так ведь у нас с тобой, Паша, всю жизнь: то здравствуй, то прощай. Когда уже наша жизнь в тихую заводь завернет?

– Уже завернула, – хмуро сказал Кольцов и пожаловался: – Круто завернула. Тише заводи не бывает. Собачья конура, стол, стул. Сиди и вой! Хочешь – на луну, хочешь – на солнце. Полная свобода выбора. Кончилась моя бедовая жизнь, Семен! Стреножили меня! Все!

– Да что ты, дружаня! Что ты! Вспомни, из каких переделок выбирались! – Красильников ободряюще похлопал его по спине. – Мы с тобой, Паша, еще поскачем по воле! Еще потопчем ковыли!

– Ну, помиловались – и за дело! – сказал Бушкин и отправился на кухню. Следом за ним туда же отправился и Красильников.

И вскоре на столе появились чашки, ложки, хлеб, кольцо колбасы, с десяток уже очищенных тараней – словом, все, что нашлось в пока еще не до конца обжитой квартире Кольцова.

Потом в дверь снова постучали. Бушкин пошел открывать и вернулся в гостиную с Гольдманом.

– Пьянствуете? – оглядев стол, строго спросил Гольдман.

– Ну, положим, собрались отметить, – с нарочитой дерзостью в голосе сказал Красильников. – А что?

– А то, что велено поломать вашу трапезу!

– Это уже невозможно, потому что стрелки манометра подошли к красной черте. Могут подорваться крышки котлов, – сказал Красильников.

– Запретить не имею полномочий. Но хозяина забираю.

– Не получится.

– У меня – нет. У Феликса Эдмундовича получится, – Гольдман оглядел компанию, остановил взгляд на Кольцове. – Тебя, Паша, ждет Дзержинский.

– Это что? Такая у тебя иезуитская шутка?

– Если это шутка, то не моя, а Гersona. Он разыскивал тебя по всему управлению. Я по дури на него налетел. Дальнейшее, надеюсь, тебе не нужно рассказывать.

Уже одетый Кольцов заглянул в гостиную, оглядел приунывших товарищей.

– Все, как я и сказал: посадили меня на цепь. Единственное утешение: цепь пока еще длинная.

Дзержинский извинился, что был вынужден потревожить его в столь позднее время. И положил перед Кольцовым его же, но отпечатанную на пишущей машинке листовку.

– Владимир Ильич ознакомился. Никаких возражений.

– Я не вижу его подписи.

– Павел Андреевич! Я привык доверять Ленину на слово, – жестко сказал Дзержинский. – И вам советую.

Герсон внес в кабинет поднос с двумя стаканами чая и с горсткой бубликов. Поставил поднос на приставной столик.

– Пожалуйста! – Дзержинский пригласил Кольцова к чаю и, выждав, когда он возьмет стакан, сам тоже обхватил обжигающий стакан двумя ладонями, стал греть руки.

– Мне текст листовки тоже понравился. Строго, лаконично, убедительно. Никаких расшаркиваний и никаких обещаний, – и тут же коротко спросил: – Разобрались с типографией?

– Сегодня ночью и завтра утром они полностью установят все оборудование. Завтра к вечеру сделают первые пробные оттиски. Если все будет нормально, за ночь отпечатают несколько тысяч. Я ориентировал их тысячи на три.

– Я думаю, пока достаточно и тысячи экземпляров, – сказал Дзержинский. – Дело и в весе, и в габаритах. Проверим надежность эстафеты, тогда будем лучше знать, как действовать. Кстати, там, в Галлиполи, надо бы выяснить, налажена ли у них связь с Чаталджой? Туда бы для начала хоть сотню листовок забросить... Кстати, вы уже продумали, кто отправится в Турцию с этим вашим попом?

– Насколько помню, мы об этом уже говорили, – сказал Кольцов. – Вы назвали тогда Красильникова.

– Не возражаете?

– Наоборот. Я давно его знаю и всячески рекомендую. Неторопливый, вдумчивый.

– На этом и решим. Я тоже, как и вы, боюсь молодых, быстрых, решительных и смелых.

Пусть подрастают, набираются опыта.

Помолчали. С хрустом ломали сухие бублики, грели руки об остывающие стаканы.

– Когда? – спросил Кольцов.

– Мне сообщили, что болгары скоро будут в Одессе. Стало быть, дня через три-четыре Красильников вместе с попом должен быть в Одессе, – Дзержинский, не донеся стакан до рта, вдруг поставил его на столик, поднял вопрошающий взгляд на Кольцова: – Прошлый раз, когда я назвал вам кандидатуру Красильникова, мне показалось, вы отнеслись к этой идее неодобрительно. Или я ошибся?

– Нет, не ошиблись. Слишком много ему за жизнь досталось. Дети выросли. Трое. А он их почти и не видел.

– Почему же вы изменили свой взгляд.

– Многих перебрал в голове, а никого лучше Красильникова не вспомнил.

– А может, еще подумаем? – спросил Дзержинский. – День-два у нас пока есть. Я ведь понимаю вас. Ваш старый товарищ. Всю войну вместе прошли. Выжили. Трое детей – не последний аргумент. Ведь случись что: погибнет, вы себе этого не простите.

– Давайте больше не будем об этом, – нахмурился Кольцов. – Вы все правильно понимаете. Он, конечно, тоже может погибнуть. Но уж дешево свою жизнь не отдаст. И все же я надеюсь, что смерть обойдет его стороной. Потому и согласился.

Они долго сидели молча

Кончился керосин в большой лампе. Герсон внес подсвечник с несколькими весело горящими свечами.

– И чтоб закончить этот разговор, – вдруг решительно сказал Дзержинский. – Война еще тлеет. И люди по-прежнему гибнут. И всех их жалко. Но мы не можем не рисковать. Вынуждены. Иначе погубим то дело, которое добыли, в том числе и сотнями тысяч смертей.

Следующие сутки ушли на сборы. Кольцов с полудня просидел в типографии. Долго что-то не ладилось. Но, в конце концов, далеко за полночь листовки были отпечатаны.

Бушкину как знатоку театральных перевоплощений было поручено экипировать Красильникова под подстарковатого дядьку-крестьянина.

Из растолстевшей от подарков торбы Ивана Игнатьевича Бушкин извлек всю его старую одежду, ту самую, в которой тот прибыл недавно в Одессу.

Переодевая Красильникова в поношенное домотканое старье, Бушкин откровенно радовался и даже немного завидовал Красильникову, которому предстояло выступить в таком грандиозном спектакле. А когда стал надевать на его ноги постолы, откровенно расхохотался:

– Ты, Алексеевич, мог бы самого графа Льва Николаевича Толстого в синематографе сыграть. Ну просто не отличишь. Только бы бороду отрастил для полного сходства.

Красильников пообещал больше, до возвращения из Турции, не бриться.

Даже Иван Игнатьевич, придирчиво оглядев принаряженного в прежние его одежды Красильникова, сдержанно улыбнулся и похвалил:

– У нас в селе...эта... дед Ерофей пастушит. Тожа так-то глядится.

А вскоре Герсон сообщил Кольцову, что получено сообщение: болгарские товарищи уже снова в пути, и, если не случится ничего непредвиденного, они скоро придут в Одессу.

Через двое суток Красильникова и Ивана Игнатьевича в Одессе встречал Деремешко.

Часть вторая

Глава первая

По пятницам правоверные мусульмане не работают. Этот день они целиком посвящают молитвам. Торговать в этот день запрещает Коран. Этот порядок действует во всей Турции кроме разве что Галлиполи.

С тех самых пор, как на полуострове французы поселили русских солдат, в жизни местных жителей произошли некоторые перемены, главным образом в их извечном укладе.

По пятницам на Центральной площади городка стал собираться большой базар, куда съезжались жители окрестных сел. Они везли сюда все, что имело хоть какую-то цену. Особым спросом пользовались продукты питания. Здесь можно было купить картофель и лук, мясо и муку, фрукты, мед, различные восточные сладости, сушеные душистые травы и специи.

А какие здесь выстраивались рыбные ряды! Выловленная всего лишь несколько часов назад, рыба и всякая морская живность еще билась в лотках, переливалась на солнце всеми цветами, но главным образом серебром и золотом.

Небольшой, сонный по будним дням городок Галлиполи по пятницам становился шумным и многолюдным и приобретал слегка праздничный вид. В пестрой толпе торговцев, покупателей и просто ротозеев мелькали темнолицые зуавы и французские офицеры в одинаковых песочного цвета одеждах.

Русские солдаты появлялись здесь довольно поздно, после утреннего построения. Поначалу, едва ли не на рассвете, здесь бродили всего лишь несколько человек, которых в виде поощрения офицеры отпускали в увольнение. Самовольщиков строго наказывали.

Но с каждым базарным днем русских солдат становилось все больше. Они тайно уходили сюда из лагеря не ради веселых приключений, а всего лишь для того, чтобы хоть чем-то отовариться и что-то принести к обеду товарищам: десяток картофелин, пшеничную лепешку или пару рыбешек.

В базарной толпе звучала турецкая, румынская, греческая, болгарская, французская и наряду с русской почти забытая в России, но словно расконсервированная здесь стародавняя русская речь.

Степенные бородатые мужики в стеганых домотканых бешметах и кафтанах, стоя в телегах, груженных свежей рыбой, переговариваясь между собой, делились свежими новостями:

– Як живете-можете, некрасовцы?

– А пошто нам? Живем, хлеб жуем, табак не пьем и в ус не дуем!

– Чутка была, вашый дьякон Иван Игнатьич в Москву подалси-от?

– Слава те Господи, возвернувся. Токмо, подався ен в Москву Иваном Игнатичем, а возвернувся отцом Иоанном. Гумагу свяченую од самого патриарха Тихона привез. И чеботы хромовы, одежку шелкову, хрест золоченый.

– Ну, и як ен? Подступный?

– А як узнаш. Доньдеже требы не правил. А так чудеса про Рассею баить. Царя, скажут, в Рассее скинули.

– Как жа енто без царя? Хучь бы для порядку. Коню, и то кучер нужон. А Рассея – во она кака! Без царя не обойдется. Хучь какой самый плохонькой царишко, а нужон!

– Бяда, бяда! Як же ж мы двести годов без царя живем!

– А Салтан? Той же самый царь, токмо шо турок.

– Я Салтану не молюсь. И без царя дондеже обходился. Я, почитай, двести годов сам себе царь.

– Пуста твоя башка. И слова твои – глупство!

– Спасибо! Встретились.

Бородатые парни в длиннополых армяках и замысловатых картузах время от времени подходили к своим возам, зачерпывали бадейками рыбу и несли к весам, а там румянолицые молодницы в расшитых овчинных тулупах и шерстяных приталенных свитках отвешивали ее покупателям, принимали деньги. С турками говорили по-турецки, с болгарами – на их родном болгарском, с греками – по-гречески.

Даже в России, в самой Богом забытой глубинке, уже не встретишь таких женщин и мужчин. А здесь, в Турции, сохранились, законсервировались. Спасли от забвения все извечно российское: и язык, и одежду, веками сложившийся образ жизни и вольнолюбивые нравы.

После утреннего построения Андрей Лагода наскоро перехватил вареной рыбы с хлебом, запил студеной водой. Торопился. Вечером ему рассказали, что едва ли не до полудня возле вахты стоял местный парень, из «некрасовцев», и всех проходящих мимо солдат спрашивал, не знает ли кто Лагоду. Все же нашелся один, который жил с ним в одной палатке.

– А зачем тебе Лагода? – спросил он.

– Родня, бают, мы с им. Мой прадед с хутора Татарского, и тоже Лагода. Повидать ба! Все ж какой-никакой, а родич.

– Где ж его счас отыщешь! Приходи вечером.

– Не сумею. Вы передайте, завтра я на базаре буду его выглядеть.

Это было не в диковинку. Время от времени возле вахты появлялись люди, разыскивающие своих родственников. Все помнили недавний случай, когда мать отыскала здесь сына и генерал Кутепов разрешил несчастной одинокой женщине увезти его с собой во Францию. И еще: князь Рылеев нашел в лагере двух своих сыновей и с разрешения Кутепова остался здесь с ними.

Лагода понял: его ищут, приглашают выйти на связь. Родственник с хутора Татарского – может быть, это пароль? Но, похоже, Менжинский называл другой хутор, кажется Томашевский. Но кто же он, этот разыскивающий его человек? Стал выспрашивать, как он выглядит? Сказали: парень как парень. Высокий, худощавый, загорелый – никаких особых примет. Верно, одет по-чуждому. Так одеваются живущие в Турции русские. Но это тоже ничего Андрею не говорило. Догадаться, кто его разыскивает, он так и не смог. Оставалось только надеяться, что разыщут его. А для этого надо в каждый базарный день отпрашиваться в увольнительную. Что само по себе может навлечь на него подозрения. Но иного выхода не было.

Базар был в разгаре, когда на нем появился Лагода. В не слишком густой базарной толпе он время от времени замечал фланирующих среди людей русских солдат, но ему не знакомых. Здоровались взмахами рук и расходились.

Андрей всматривался в проходящих мимо него людей, выискивая в толпе молодых, деревенских, загорелых. Иных примет у него не было. Деревенские парни в основном толпились в рыбных рядах, возле своих телег. Он несколько раз прошелся мимо лузгающих семечки парней и бойких молодниц, сидящих на деревянных бадейках.

Дело близилось к полудню, народу на базаре все убывало. Побродив по базару еще с полчаса, Андрей стал постепенно сомневаться в пароле. Хутор Татарский большой. Может, кто-то и в самом деле разыскивает таким способом свою родню. Мало ли какие совпадения в жизни случаются. Могли бы придумать что-то помудреннее. А то ходишь дурак дураком по базару, кого-то ищешь, а кого – и сам не знаешь. Бред какой-то! Может, уйти?

Но ведь был же тогда, давно, разговор с Менжинским о пароле? Не придумал же он все это? Только хутор какой-то другой назывался. Не Татарский. Напряг память, вспомнил: Томашевский. В конце концов, это можно еще было бы как-то понять. Но при чем здесь парень-«некрасовец»? Его он никак не мог привязать к этой «легенде».

Превозмогая легкий страх, Андрей все же решил еще немного походить по пустующему базару и при этом зорко наблюдал за всем. Его больше всего привлекали почему-то рыбные ряды. Может, потому, что там в основном торговали российские крестьяне, которых называли «некрасовцами». А возможно, потому, что сам когда-то рыбачил и любил море, воду и степенных несуетных рыбаков. Они внушали ему какое-то спокойствие и доверие.

Проходя по рядам, он всматривался в блестящие на солнце серебряные слитки. Последним в этом ряду, чуть на отшибе, стоял возле своей рыбы дедок в старой домотканой одежде.

– Гляди, сынок! Рыба на любой вкус: сардина, скумбрия, горбыль.

Андрей коротко глянул на него, что-то знакомое привиделось в этом старике: фигура ли, голос? Да нет! Просто почудилось! Он искал глазами другого, а этого старца он лишь на мгновение удостоил своим вниманием.

– Такая не только здесь. Где она только не ловится. В Черном море, к примеру.

Голос! Да, и он показался Андрею знакомым. Даже не голос, а та мягкая украинская округлость в букве «Г» и едва заметная хрипотца, подозрительно ненастоящая. Не старческая, а «под старческую».

И все же ни облик, ни сам владелец знакомого голоса не приходили на память. Вероятно, случайность. Совпадение. Но с чьим голосом?

Андрей тронулся дальше.

– Напрасно уходите. Мне бы с вами хотелось малость о Феодосии потолковать.

«Феодосия»? Ну, конечно же! Вот откуда знаком ему этот голос! Семен Алексеевич Красильников! Это он! Но при чем тут парень-«некрасовец»? Впрочем, какое это имеет теперь значение?

Пристально всматриваясь в стоящего неподалеку от него человека, Андрей с удивлением обнаружил, какие поразительные превращения могут сотворить с человеком одежда, облысевшая заячья шапка и неухоженная небритость.

– Ну и ну! – только и вымолвил Андрей.

Красильников подошел к Андрею, взял его за руку, отвел в сторонку, где стояли уже опустевшие телеги и кони доедали припасенное для них сено.

– Признал все же, – скупой улыбнулся Красильников.

– Не понимаю я эти ваши игры, – облегченно вздохнул Андрей. – Я и товарищу Менжинскому тогда сказал: не по мне это.

– Это – наживное, – успокоил его Красильников.

– А зачем тогда пароль? К чему эти детские игры? Увидели бы – окликнули.

– А как бы я смог вытащить тебя сюда из лагеря. В ваш лагерь мне не с руки. Глядишь, могу на кого-то из знакомых напороться. Их там у меня немало.

– У меня тоже не всегда сердце на месте, тоже ведь и тут и там служил..

– У тебя все просто: в плен до большевиков попал, но сумел сбежать.

– Под этой легендой и живу, – сказал Андрей. – Что хочу вас еще спросить. Вы, случаем, пароль не перепутали? Мы с Менжинским о хуторе Томашевском договаривались.

– Я-то не перепутал. Это напарник мой. Он местный. Я послал его тебя из лагеря выманить. Ну он и сморозил насчет Татарского.

Они стояли посреди уже затихающего базара, разговаривали. Их обтекали люди, как вода камень. И ничего не было необычного в этой встрече двух людей: может, знакомые встретились, может, продавец с покупателем торгуются.

– Теперь – о деле, – уже строже, по-деловому сказал Красильников. – Слушай меня внимательно. Подойдешь вон к той пустой телеге, сегодня я на ней хозяйную. Сзади из-под сена вытащишь два пакета с листовками. Сунешь за пазуху, должно поместятся. Я на себе примерял. Старайся все делать незаметно. Стреляй глазами по сторонам, но не торопливо, вроде как базаром любишься. Как их в лагере раскидать, подумай. И после затаись. Обязательно будут искать, кто мог в лагерь листовки принести. Всех, кого в городе видели, через сито просеют.

– Это я понимаю.

– Мало понимать, надо не вызывать подозрение.

– Постараюсь

– Уж, пожалуйста, постарайся, – едва заметно улыбнулся Красильников. – Но не перестарайся. Это тоже грозит теми же последствиями.

Красильников незаметно посмотрел по сторонам:

– Сходи, забери листовки

Андрей сделал все, как велел Красильников. И все же, разместив пакеты с листовками под мышками, почувствовал себя неуклюжим и толстым. Понял, что наблюдательный человек это может заметить, а то и поинтересоваться припрятанной ношей. Заподозрят, что несет в лагерь что-то съестное. Солдаты возвращались с базара, как правило, с какой-то добычей, тщательно ее скрывать было не принято.

Немного поразмыслив, Андрей потуже затянул поясной ремень и переложил один пакет за спину, а второй так и оставил под мышкой левой руки. Если руку держать в кармане, то и вовсе никто ни о чем не догадается.

После всех этих процедур он снова вернулся к Красильникову. Тот критически оглядел его, удовлетворенно сказал:

– Вроде нормально, – и затем спросил: – Кормят вас французы как?

– Заботятся, что б ненароком не растолстели, – усмехнулся Андрей.

– Мог бы дать тебе рыбы, сколько унесешь. Но подумал: не стоит. Такое богатство от голодных людей не скроешь. По рыбе и вычислят, что ты тоже бываешь на базаре. Ничего опасного, но под подозрение уже попадешь. Даже если ты удачливый, все равно работать станет труднее, – Красильников немного помолчал, словно вспоминая, какие еще советы и предостережения он может дать своему малоопытному товарищу, но спросил затем о другом: – А скажи мне еще вот о чем: какие-либо связи у вас с лагерем в Чаталдже есть?

– Не слыхал. Начальство в Константинополь ездит, может, и в Чаталджу наведывается.

– Припрячь где-нибудь в укромном месте сотню-другую листовок. Вдруг возникнет какая-нибудь оказия забросить их в Чаталджу.

– Скорее в Бизерту, если постараться, – с легкими сомнениями сказал Андрей. – У нас иногда останавливаются суда, идущие в Бизерту или же, наоборот, в Константинополь. Зачастую там наша команда. Надо будет постараться с кем-то из наших морячков дружбу завести.

– Это бы хорошо. Только вдруг не с тем задружишься?

– Согласен. Риск есть. В лагере больше двадцати тысяч человек. И у каждого два глаза и два уха. Но я не сказал: сделаю. Я сказал: постараюсь.

– Н-да, – сокрушенно вздохнул Красильников. – С Москвы все по-иному видится. Кажется, главное – достичь Галлиполи, а там оно – как комару ногу оторвать. А выходит, что в Галлиполи все только начинается.

Они какое-то время еще постояли, поговорили о погоде в Турции, о зиме, что уже на лето повернула, о том, что Врангель собирался весной выступить против Советской России.

– Ты вот что: смотри в оба. Когда станут готовиться к походу, мимо твоих глаз это не пройдет. Сразу же дай знать, – Красильников указал вдаль, где почти у самого выхода из

базара высился небольшой, похожий на высокую и нескладную собачью будку стационарный кирпичный ларек. – Обрати внимание: вон в той будке сапожник сидит. С утра и до вечера, каждый день. Нужен буду, скажи ему, что хочешь меня видеть. На следующий день выходи на набережную. Не сумеешь, к вечеру я появлюсь возле вахты у вашего лагеря.

– Запомнил, – кивнул Лагода.

– Ну что ж! – решительно сказал Красильников. – Вот и все наше с тобой свидание. Готов бы и день с тобою говорить, да... – он развел руками.

– Скажите хоть, что там у нас? – попросил Лагода.

– Там? – он чуть задумался, улыбнулся. – Там – хорошо. Там – оркестры... Все наши приветы тебе передавали. И Кольцов, и Гольдман, и Бушкин... все-все...

– Мне-то долго здесь? – с грустью спросил Андрей.

– Не думаю. Если до лета они не выступят, то к осени дома будешь, – и, вспомнив что-то, Красильников сказал: – Твоих там, в этой твоей Голой Пристани, известили. Они знают, что ты живой, здоровый, находишься в командировке.

– Не сказали, что у белых? – осторожно спросил Лагода. – А то потом не отмоешься

– Этого ты не опасайся. За это тебе, может, орден на грудь! – успокоил Лагоду Красильников.

– Очень уж домой охота, – вздохнул Андрей. – Силов никаких нету.

Глава вторая

План ухода армии из Галлиполи сохранялся в тайне. О нем знали только те немногие, кто присутствовал на первом совещании. К ним добавилось еще какое-то количество офицеров, которые принимали участие в подробной разработке будущего маршрута.

Мысль об авантюрном овладении Константинополем держали в уме только те немногие, кто присутствовал на самом первом совещании. Это был бы красивый и отчаянный шаг, который годился бы лишь для того, чтобы громко, на всю Европу заявить о неисполнении французами своих союзнических обязательств и попытках раздробить, обезоружить и ликвидировать Российскую армию. Что было бы потом, никто предсказать не мог. Поэтому ориентировались все же на вполне разумный и не столь эпатажный план – уходить в Болгарию.

Генерал Штейфон вскоре связался с высокопоставленными чиновниками Сербии и Болгарии и получил обещание принять у себя Русскую армию.

Поскольку маршрут пролегал через греческую территорию, Штейфон вскоре заручился также поддержкой греческих военных властей, которые пообещали, что окажут Русской армии всяческое содействие при ее передвижении по греческой территории. Греки брали на себя снабжение армии продовольствием, перевязочными материалами и опытными проводниками.

Тем временем несколько штабных офицеров были заняты рекогносцировкой будущего пути, определяли время продвижения и места привалов. Заранее намечали подразделения, которые примут на себя авангардную разведку в пути и аррьергардное охранение войска.

По всем прикидкам, самым опасным для армии местом при ее уходе будет Беллайирский перешеек, соединявший полуостров Галлиполи с материком. Это было самое узкое место и, как ни странно, самое неизученное. Дорога, по которой должны были пройти войска, пролежала неподалеку от берега, возле которого денно и нощно дежурили французские военные корабли – канонерка или миноносец.

Чтобы подготовить войска к внезапному выступлению и вместе с тем усыпить бдительность французов, было решено провести несколько маневров. Кроме того, Кутепов хотел проверить, насколько корпус после нескольких месяцев лагерного существования все еще дисциплинирован, управляем и мобилен.

Первый раз решили устроить не ночные маневры, а всего лишь смотр каждого подразделения по отдельности – без боевой выкладки, но с коротким строевым маршем. Начинать решили в два часа ночи с расположенного на окраине города Александровского военного училища, которое уже здесь, в Галлиполи, было переименовано в Александровское имени генерала Алексеева военное училище.

Но непредвиденный случай сорвал этот план.

Вечером генерал Витковский пришел к Кутепову и сказал:

– Я только что велел генералу Курбатову отменить ночной смотр.

– В чем дело? – спросил Кутепов. Он знал: Витковский не сделал бы этого, не посоветовавшись с ним, если бы на то не было бы веских причин.

– Умер поручик Савицкий. Надобно похоронить его со всеми воинскими почестями. В нашем положении это важно прежде всего для живых.

– Да, конечно, – согласился Кутепов. – Надо проводить его достойно.

– Я отдал необходимые распоряжения, – сказал Витковский. Однако Кутепов заметил, что он не собирается уходить.

– Что-то еще? – спросил он.

– По этому же поводу: хочу с вами посоветоваться.

– Да, слушаю.

– Мы здесь, в Галлиполи, похоронили уже двадцать семь солдат и офицеров. Местные власти согласны навечно уступить нам часть территории кладбища. Этот кусочек турецкой земли навсегда останется русским.

– Да-да, все это хорошо! – нетерпеливо сказал Кутепов. Он знал медлительность Витковского, его манеру даже о самом пустячном деле докладывать, оснащая свой рассказ массой ненужных подробностей. – Но в чем суть ваших сомнений?

– Подпоручик Акатьев, имеющий наклонности к рисованию, обратился ко мне с предложением установить на кладбище памятник, дабы увековечить память всех почивших на этой чужой земле россиян, – Витковский развернул перед Кутеповым лист ватмана. – Вот его проект. Взгляните, Александр Павлович. Лично мне эта задумка очень по душе.

Кутепов долго рассматривал нарисованный на бумаге остроконечный каменный холм.

– Что сие означает? Что вас так привлекает в этом рисунке? – холодно спросил Кутепов.

– Мысль, Александр Павлович. Сия горка – некое подобие скифского кургана. Такие рукотворные курганы они воздвигали на местах великих битв, под которыми были погребены воины. Ведь если взглянуть на нашу историю, то она восходит к самым древним нашим предкам – воинственным хлеборобам-скифам. И здесь, на земле, где мы сейчас находимся, тоже полегло немало наших пращуров, в том числе и недавние наши предки – казаки-запорожцы, умершие в турецком плену, и славяне, с боями пробивавшие себе путь «из варяг в греки».

– Ну, допустим, что вы с подпоручиком Акатьевым меня убедили. И как это будет осуществлено практически?

– Подпоручик предлагает воскресить обычай седой старины, когда каждый выживший в кровавой сече воин приносил в своем шлеме землю на могилу своих павших товарищей. И вырастал высокий курган. Так же предлагается поступить и в нашем случае. Пусть каждый воин принесет сюда хоть один камень, и здесь поднимется каменный холм. Он будет виден всем, кто будет проплывать по проливу.

Кутепов стал снова рассматривать рисунок и, как всегда в минуты раздумья, барабанил пальцами по столу.

– Груда камней. И все? Чего-то здесь еще недостает, чтобы это стало памятником. Какой-то мелочи, детали.

– У нас тоже возникло подобное ощущение, – сказал Витковский.

– «У нас» – это у кого?

– Прежде чем посоветоваться с вами, я этот рисунок показал кое-кому из генералов. Одобряют. А генерал Туркул тоже сказал, что замысел хороший, но бедновато выглядит. Он предложил вмуровать в этот курган большую мраморную доску, на которой поместить соответствующую надпись. Причем на нескольких языках: прежде всего на русском, а также турецком, французском и греческом.

– Ну вот! Это уже ближе к желаемому, – согласился Кутепов. – Надпись-то придумали?

– Вчерне. набросок, – Витковский извлек из кармана мундира вчетверо сложенный листок, развернул его: – Тоже генерал Туркул предложил.

– Знаю, балуется пером. Даже что-то читал. Не граф Толстой, но все же... Читайте!

– «Упокой, Господи, души усопших! Первый корпус Русской армии своим братьям-воинам, в борьбе за Честь Родины, нашедшим вечный покой на чужбине в 1920—21 годах».

– Это все?

– А что можно еще сказать? – смутился Витковский и после некоторых размышлений сказал: – А может, вместо «Упокой, Господи, души усопших» написать: «Мертвые сраму не имут»? Мне кажется, это было бы больше к месту.

– Сам выдумал? Или Туркул?

– Киевский князь Святослав Игоревич почти тысячу лет назад сказал своим ратникам перед битвой с византийцами.

– Скажи, что знаешь! – удивился Кутепов.

– Историю в гимназии очень любил, – с доброй улыбкой вспомнил свои юные годы Витковский. – Да и в военном училище мне тоже на хороших историков-преподавателей повезло.

– Ну-ну, расскажи, – заинтересовался Кутепов.

– Византийцев была тьма-тьмущая, князь почувствовал: одной силой их не одолеть, нужна еще отчаянная храбрость. Вот он перед боем и сказал: «Да не посраим землю рускую, поляжем костями, мертвые бо сраму не имут!»

– Что, так и сказал?

– У Нестора в летописи так записано. А битва состоялась неподалеку от городка Доростола, нынешняя Силистрия. И досюда когда-то интересы России простирались. И до Стамбула. Было время, Царьградом звался, в центре города знаменитый православный храм Святой Софии построили. И сейчас, как вы заметили, он по-прежнему стоит, только на куполе вместо православного креста чужой турецкий полумесяц.

– Про эту битву с византийцами я в училище тоже слышал. Но Нестор тут что-то напутал. Не мог князь Святослав так сказать, – не согласился с Витковским Кутепов. – Получается, если ты пал на ратном поле, тебе нет срама. А если ты храбро дрался и не победил, но остался живым, то тебе в награду срам и позор? Не по-христиански это, да и не по-людски.

– Но так у Нестора.

– Я думаю, князь Святослав примерно так сказал: «Не токмо мертвые, но и живые, кто за свою землю бился, сраму не имут». Так было бы правильнее. А то что же получается? Поручик Савицкий помер – он срама избежал. А мы с тобой, да и все наши? Прошли через годы лихолетья, израненные, искалеченные, но живые – не по своей воле на чужбине оказались – нам срам и позор? Так, что ли?

Витковский промолчал.

– Кто не за «зипунами», не грабить ходил, а за свою землю, за свою правду бился, всем им честь и хвала, и живым, и тем, кто в боях сложил свои лихие головы. Так я понимаю, – продолжил Кутепов. – Конечно, и наших славных предков – запорожских казаков – следует упомянуть, коль их останки покоятся на здешнем кладбище. Но и те, кто остался живым, их славу приумножили.

– Ну, а как с большевиками? Я имею в виду не это кладбище, а в общем, исходя из нашего разговора? Они ведь тоже за свою правду воюют. Что, и им честь и слава? – отпарировал наконец Витковский.

– В этом и есть трагедия нашей смуты: каждый по-своему прав. Брат против брата, сын против отца – у каждого своя правда, – и, подумав немного, добавил: – Я бы так написал: «Не токмо мертвые, но и живые, кто за правду сражался, сраму не имут». Правда и верно у каждой стороны своя. Шкурной правды не бывает, потому что за нее слишком часто приходится платить жизнью.

– Тут я с вами согласен. Но мы ведь ищем слова, чтобы высечь их на граните кладбища. Хотелось бы увековечить память конкретно наших солдат, галлиполийцев.

– Найдем слова. У нас еще есть немного времени, – закончил разговор Кутепов.

Витковский что-то дописал на листке и положил его в карман мундира.

На следующий день хоронили поручика Савицкого. Гроб везли на лафете, в который были впряжены две небольшие гнедые лошади, выменянные хозяйственниками у местных крестьян в окрестных селах. Сопровождал процессию духовой оркестр. После отпевания и завершения похорон протоиерей Миляновский оповестил всех, кто присутствовал на похоро-

ронах, о сооружении на кладбище памятника и попросил каждого галлиполийца принести сюда, в обозначенное место, хотя бы по одному камню.

Несколько находчивых солдат насобирали тут же, за оградой кладбища, по несколько камней и, пока еще протоиерей не ушел в свою палатку, принесли их и высыпали прямо в самом центре отведенного участка.

– С почином вас, братья! – сказал протоиерей и, осенив крестным знаменем первые камни будущего памятника, добавил: – Пусть оставленный нами здесь, у берегов Дарданелл, памятный холм на долгие годы, может быть на века, напоминает всем, посетившим эту скорбную юдоль, о почивших здесь русских героях.

Первыми в эту ночь, как намечалось еще до похорон Савицкого, подняли по тревоге александровцев. Почти голые курсанты грешными ангелами выскакивали из палаток и, придерживая в охапке свою одежду, мчались к тускло освещенному карбидными лампами плацу. Ухитрялись виртуозно, на ходу, одеваться. Сапоги натягивали уже в строю.

Но, когда на плац вышел начальник училища генерал-майор Курбатов, почти все курсанты уже четко выстроились и «ели глазами» начальство.

Курбатов неторопливо вынул из кармана мундира часы и, поглядывая на секундную стрелку, давал время последним полусонным курсантам добежать до строя и одновременно привести себя в порядок. Лишь после этого коротко сказал:

– Благодарю. Успели.

Внезапно на плац въехали несколько всадников во французской форме. В неверном холодном карбидном свете Курбатов рассмотрел гостей. Это был французский комендант Галлиполийского гарнизона подполковник Томассен, его переводчик и два сопровождающих их темнолицых зуава. Они спешили и стали удивленно рассматривать выстроившихся на плацу курсантов.

Видимо, кто-то уже успел сообщить русскому командованию о неожиданных гостях, потому что почти сразу же за ними на плацу появились Кутепов, Витковский и еще несколько штабных офицеров, в том числе и переводчик командующего корпусом полковник Комаров.

После того как они поздоровались, подполковник Томассен недружественным тоном спросил:

– Нельзя ли узнать, что здесь происходит?

– А что вас интересует? – удивленно посмотрел на Томассена Кутепов.

– Мне доложили: у вас здесь какой-то шум, голоса. В городе тоже заметили каких-то солдат. Я подумал, у вас что-то случилось.

– Подполковник, вы не первый год в армии и, вероятно, знаете, что для поддержания дисциплины и боеспособности армии в ней иногда даже ночью проводятся учения, боевые тревоги, смотры. Вот такой ночной смотр мы и проводим сегодня.

– Во-первых, вы были обязаны известить об этом коменданта города, то есть меня.

– Ну, а во-вторых? – с легкой улыбкой спросил Кутепов.

– Я вас уже информировал о том, что мое руководство не считает вас больше армией. И, стало быть, вы не имеете права проводить на территории вверенного мне гарнизона какие бы то ни было учения или смотры, – все так же жестко произнес Томассен. Его взбесила улыбка Кутепова, но он попытался овладеть собой.

– Я тоже могу повторить то, что уже однажды вам сказал, – спокойно ответил Кутепов. – Что думает ваше командование о моей деятельности как командующего корпусом, меня мало интересует. Я подчиняюсь своему командованию. Генерал Врангель считает, что наша армия, как и любая другая, должна находиться в постоянной боевой готовности. Для этого я и провожу сегодня ночной смотр.

– Я все думаю, откуда у вас, русских, столько спеси, – сердито продолжил Томассен. – Проиграли войну, находитесь на чужой территории, причем, замечу: на чужом иждивении. Что дает вам право так себя вести?

– Достоинство, господин подполковник. Это то небольшое, что у нас еще осталось и что пока мы никому не позволяем ни растоптать, ни предать забвению.

– О каком достоинстве вы говорите? Вы, кажется, собираетесь уйти? Но даже для этого вам придется просить у нас разрешение.

– О чем вы? – спросил Кутепов и подумал о том, что Томассен либо блефует, либо намерение россиян каким-то способом стало известно французам.

Впрочем, эта загадка тут же разрешилась.

– Болгарское правительство известило нас, что в ответ на вашу просьбу оно готово предоставить вам для временного пребывания свою территорию. Ну, уходите. И что? Только продлите агонию. Воевать вы уже не сможете. Большевики с каждым днем становятся все сильнее. Забудьте о реванше! Они сметут вас еще там, на бывшей вашей границе.

Разговор был мерзкий, отвратительный. Но, к сожалению, и Кутепову самому иногда ночью приходило в голову нечто подобное. Но он тут же пытался отбросить подобные мысли прочь.

– Я так понимаю: мы с вами ни до чего не договоримся, – сухо сказал Томассен

– В таком тоне – никогда.

– Но зачем вам все это? – Томассен указал глазами на строй курсантов, которые не без интереса наблюдали за спорящими. Многие из курсантов в совершенстве знали французский и хорошо вникали в суть перебранки. – Вы воруете у них лучшие годы, вы воруете у них будущее. Молодость – это время, когда молодежь ищет и находит себя в этом мире. Вы отбираете у них эту возможность. И потом, эти лишения, холод, болезни. Эти палатки! Зачем им все это?

– В той стране, откуда мы ушли, у них не было бы будущего. Ради того, чтобы вернуть себе свою страну, в которой они смогут найти себя, они готовы переносить лишения.

– Вы их спросили?

– Бесспорно. Они думают так же, как и мы, их командиры. Мы вернемся в Россию и подарим им то будущее, какого они заслуживают.

– У вас обширные планы! – язвительно сказал Томассен.

– Сэ ля ви! Так, кажется, утешают себя французы?

Витковский с удовольствием слушал этот разговор. Он нравился ему не глубиной содержания, ни оригинальностью мыслей – обычная перепалка двух рассерженных мужчин. Он нравился Витковскому единственной: его продолжительностью. Он готов был бы слушать его до утра. Но, по его прикидкам, возможно, хватило бы еще часов двух-трех...

Едва только Томассен появился в лагере, Витковский предположил, что между Кутеповым и Томассеном на этот раз не обойдется без серьезного скандала. А скандал этот нужен был не Кутепову, а именно Витковскому, и он тут же отправил в город человек двадцать казаков с заданием: во что бы то ни стало извлечь из-под воды притопленное еще осенью в порту оружие. Оно уже довольно долго пролежало в соленой морской воде, и его надо было во что бы то ни стало достать и привести в порядок. Кто мог сказать, как сложатся дальнейшие отношения с французами, и, вполне возможно, россиянам придется внезапно покидать Галлиполи. Не оставлять же оружие под водой? Тем более что неизвестно, как в дальнейшем развернутся события, и оружие и боеприпасы им еще могут пригодиться.

Две прежние попытки извлечь оружие из воды окончились неудачей, помешали бдительные зуавы.

Витковский долго ждал этого дня, вернее этой ночи. И вот, она случилась. Томассен со своей командой находится в лагере. Ночи холодные, зуавы спрячутся в тепло и будут спать.

У пирса не было судов. И – самое главное – по всем прогнозам, в эту ночь морской отлив будет на самом низком уровне. Под воду глубоко нырять не придется, возможно, удастся обойтись заранее заготовленными металлическими крючьями.

Поняв, что разговор Кутепова с Томассеном близится к концу и дело может сорваться, Витковскому нужно было во что бы то ни стало задержать французов здесь, в лагере.

– Господин подполковник, к чему все эти споры, если мы на них никак не можем повлиять? Вспомните, были ли у нас с вами до сегодняшнего дня серьезные причины для размолвок или ссор?

Кутепов удивленно покосился на Витковского.

Но Витковский, не обращая внимания на косые взгляды Кутепова, продолжал:

– Чтобы загладить эти горькие минуты недоразумений, мы все же рискуем пригласить вас присутствовать на нашем смотре. Это займет не более пары часов. А затем за поздним ужином или ранним завтраком вместе посмеемся над причинами наших ненужных недоразумений и мелких ссор.

По той упрямой настойчивости, с которой Витковский пытался удержать Томассена в лагере, Кутепов не сразу, но понял, что вся эта сладкая речь затеяна Витковским неспроста. И, в конце концов, тоже бросился ему на помощь:

– Да-да, за рюмкой чего-нибудь обсудим причины наших разногласий и, возможно, то, что мы сейчас считаем пропастью, всего лишь канавка, которую легко переступить.

– Да, так часто бывает, – сказал Томассен и посмотрел на своих спутников. Они были явно не против рюмки «чего-нибудь». Томассен и сам не понаслышке знал о русском гостеприимстве, но для приличия слегка посомневался:

– Ночь без сна. А завтра такой тяжелый день, – и решительно сказал: – Разве что... в порядке обмена опытом.

Картина была достойна кисти Айвазовского. Под холодным светом луны, задравшей кверху рога, несколько раздетых до кальсон казаков попеременно бултыхались в холодной воде Пролива. Из воды выскакивали пробками, держа канаты в зубах. Передавая канат в руки «бурлаков», как называли себя казаки, которые вытаскивали тяжелые тюки из воды, купальщик бежал переодеваться в сухое.

Работа у казаков была нелегкая. Без шума и плеска, ежесекундно с опаской наблюдая за комендатурой, они извлекали затопленное здесь поздней осенью оружие: несколько тысяч винтовок, больше десятка станковых пулеметов, коробки с патронами. Потопили от отчаяния: не хотели отдавать французам, а вынести с кораблей не смогли. За количеством всего вынесенного на берег французы строго следили.

И тогда какой-то умелец придумал хитроумный план и был Кутеповым и Витковским одобрен. Все лишнее оружие, которое по мирному договору россияне должны были сдать французам, они упаковали в связки и ночью опустили в море, под днища кораблей. А чтобы их можно было извлечь из морских глубин, к каждой связке привязали доски-поплавки. Расчет был такой, что даже в самый низкий отлив доски не всплывут на поверхность воды.

А дальше все просто. В любую ночь во время отлива заранее заготовленными крючьями «ловить» поплавки и затем подтаскивать тюки к берегу.

На рассвете подхорунжий Бойко подошел к палатке Витковского. За парусиновой стеной отчетливо слышались русские и французские голоса.

Подхорунжий спросил у прогуливающегося возле палатки денщика Витковского:

– Кто там, у генерала?

– Французы.

– Как думаешь, скоро кончится?

– Думаю, вечером. Дуже сурьезне совещание. Вже до третьей Четверти приступили. Видать, ще одну осылять.

- Чего так думаешь?
- А шо, сам не слышишь? Ще не спиваютъ.
- Ну, сходи, вызови хозяина.
- Не велено.
- А ты ему на ушко. Скажешь, мол, Бойко пришел. Намекнешь: веселый
- Смотри, земля! Осерчае, всех собак на тебя спущу.
- Иди, иди!

Из палатки тут же вышел Витковский. Вопросительно взглянул на подхорунжего.

- Все тип-топ, Владимир Константинович! – сказал Бойко.
- Молодцы!

– Эта валюта сегодня не в цене, ваше превосходительство. Может, чего согревающего пропишете? – и, чтобы окончательно уговорить Витковского, Бойко обстоятельно доложил: – Насилу до лагеря доперли. Две ходки пришлось делать. Мужики приблизительно подсчитали: тонн восемь железа. В арсенале сложили. Пущай сутки протряхнет, потом почистим, по новой смажем.

– Значит, так, – размышляя, сказал Витковский. – Сбегай до хозяйственников. Скажешь: я велел бутылку налить.

- У меня шо то со слухом, Владимир Константинович. Сколько?
- Бутылку.
- На двадцать две души?
- Души не пьют. Сколько надо?
- Для разминки чи окончательно?
- Если для разминки, то сколько?

– Давайте так: я отвернусь, а вы считайте. Если по стакану, это двадцать два стакана. Так? Калабуху за одного человека не считайте. Калабуха за раз ведро борща съедает. Считайте, ему для разминки четыре стакана надо. И Грицьку Грубе тоже не меньше четырех.

– Ну, так сколько?

– Вы ж считалы... Не, давайте по-другому! А то шо может получиться. Вы нам для разминки, а нам, не приведи Господи, захочется окончательно. А до вас то командующий в гости, то Кутепов. И шо получится? Недопитие. А это ж така страшна болеть. Один раз меня прихватила. Ну-й и помучився!

– Короче, что ты хочешь?

– Лично я – ничего. А хлопцы, чуєте, кашляют. Три часа в холодной воде. До утра половина вымрет. Так шо вы вже не скупитесь. Отлейте два ведра, и пойду спасать. Может, кто и выживет.

Витковский подумал и сказал:

– Иди до хозяйственников, скажешь от моего имени: пусть выдадут вам премию: четыре фунта сала, четыре паляницы хлеба и нальют бутылку...

- Побойтесь Бога! Две! – возопила душа Бойко.
- ...и нальют четверть, – поправил сам себя Витковский. Он любил казаков. Хозяйственники еще спали. Подхорунжий разбудил каптенармуса:
- Выдь для разговора!
- Поговорим днем! Дай сон доглядеть! – взмолился каптенармус.
- Выйди! Не то счас генерал придет. Я от него.
- Какой генерал? У нас много генералов.
- Витковский Владимир Константинович.

Каптенармус накинул шинель, вышел из палатки.

- Не дал, басурман, сон доглядеть. Баба снилась.
- Не миловался, пока мирно было?

– Дак чужая!.. Говори, чего тебе.

– Велено четверть налить.

– Ну, ты даешь! Четверть! Может, четвертинку?

– Не веришь? Сходи спытай.

– Так вы весь наш «энзэ» в три дня зничтожите! – сердито сказал каптенармус.

– Не жадься! Не для питья, а токмо для здоровья души и тела, – повеселел Бойко.

– Кони воды меньше пьют! – пробормотал себе под нос каптенармус. – Посуду хватил?

– В ведро отольешь! Не бойсь, верну. Если на какой-сь литр в нашу пользу случайно ошибешься, не зобидимся.

Каптенармус скрылся в палатке, должно быть, одевался. Потом прозвенел ключами и вышел.

– Идем со мной. До складов!

Он пошел впереди, Бойко чуть отстал, но торопливо поспевал за каптенармусом, радуясь хорошему началу дня.

Во время застолья, на которое были вынужденно приглашены французы, Томассен улыбался, шутил, но пил в меру и старался избегать раздражающих хозяев высказываний. Он был верным слугой своих господ и добросовестно выполнял все то, что ему предписали.

Пару раз Витковский осторожно, как бы невзначай, попытался выяснить, почему французское командование так изменило в худшую сторону отношение к Русской армии? Какие силы влияют на это?

Но Томассен либо отшучивался, либо переводил разговор в другую, более нейтральную плоскость: о русских женщинах, о варьете на Монмартре – обо всем, что никак не сопрягалось с нынешним пребыванием Русской армии в Галлиполи.

Проводив гостей пением «Марсельезы», Кутепов из всего их «братания» сделал однозначный вывод: отношения с французами вряд ли улучшатся, скорее наоборот, поэтому следует не расхолаживаться, а продолжать готовиться к уходу из Галлиполи. Рано или поздно французы станут более энергично вмешиваться в их дела, применяя для укрощения их строптивости любые средства, и в первую очередь уменьшение продовольственной помощи, которая и так была довольно скудной.

Витковский же смирно остался доволен: ему удалось обвести Томассена вокруг пальца и вернуть армии фактически потерянное оружие. Если случится самое худшее, что вполне возможно, и им придется внезапно покидать Галлиполи, они уйдут, как и подобает солдатам, во всеоружии, способными достойно постоять за себя, а не как изгнанники, беженцы.

– Как вы думаете, не пришло ли время обо всем доложить Петру Николаевичу? – спросил Витковский у Кутепова, обсуждая проведенное совместное с французами застолье. – Вдруг Врангель не одобрит всю эту нашу самодеятельность насчет ухода?

– Уходить надо красиво, так, чтобы вся Европа поняла, что французы просто подло предали нас. Но мы пока еще не готовы.

– Почему вы так думаете?

– Французы не дураки, – продолжил Кутепов. – На протяжении всего нашего пребывания здесь они внимательно следили за всеми нашими телодвижениями и, как мы убедились, посвящены в наши планы.

– Ну, и что вас беспокоит?

– Многое. В частности, Балайирский перешеек.

Кутепов разложил перед своими генералами карту и указал на самую узкую часть Галлиполийского полуострова, соединяющую его с Фракией, иначе говоря, с Европой.

– Здесь предстоит нам пройти. Но кто мне скажет, какие опасности подстерегают нас здесь? Ну ладно, здесь мы еще как-то сами разберемся. А дальше? Там ведь тоже далеко не все мы знаем в деталях. А, как известно, дьявол кроется именно в мелочах.

И все промолчали.

Глава третья

В самом деле, постепенно накопилось много вопросов, на которые никто из них не мог, да и не имел права самостоятельно ответить, а тем более решить, кроме самого Верховного главнокомандующего. Вся затея с дерзким уходом из Галлиполи грела их, но поддержать или запретить ее мог только Врангель.

Но Врангель был далеко, и решать какие-либо вопросы по радию или по телеграфу было неразумно, опасно, к тому же категорически запрещалось кроме разве что различных бытовых вопросов, в них, естественно, были посвящены французы, но они их нисколько не интересовали. Никто не был уверен, что все переговоры со штабом армии не прослушиваются и тут же доводятся до французской администрации. Во всяком случае, иногда вдруг выяснялось: о чем бы французам не следовало знать, они знали. И никак не удавалось выяснить, виновата в этом связь по радию или телеграфу или же в штабе уже успел завестись французский осведомитель.

Время терпело. Даже если бы Верховный согласился на уход из Турции, к этому надо было корпус хорошо подготовить. Сама мысль перебазироваться куда-то в Болгарию или Словению, где армию окружили бы сочувствием, пониманием и братской заботой, грела всех, кто принимал участие в разработке этого плана. Теперь только надо было его изложить Верховному и получить одобрение.

Кутепов не исключал, что Петр Николаевич может не поддержать их порыв. Впрочем, не только Кутепов, но и многие другие генералы, особенно штабные, заметили, что после поражения в Крыму Верховный очень изменился: его покинули решительность, дерзость и безрассудная отвага, чем он всегда отличался, когда служил под командованием Деникина. Собственно, не исключено, что во многом за эти прежние свойства его характера 22 марта прошлого года на Военном совете его избрали главнокомандующим Вооруженными силами Юга России, практически передав ему всю полноту власти над огромной частью российской территории.

Кутепов верил, что сумеет уговорить Врангеля уйти из Турции, потому что к тому же это был единственный способ приумножить армейские ряды: часть российских войск была рассеяна по другим странам. Они объединились там в монархические организации. Довольно мощные такие организации находились в Чехо-Словакии, Греции, Сербии, Польше, Германии и во Франции. Но как поведут они, согласятся ли войти в состав Русской армии Врангеля? Об этом сейчас не стоит говорить с Петром Николаевичем. Лучше потом. Находясь, к примеру, в Болгарии, с этими организациями станет удобнее взаимодействовать. Это, вероятно, хорошо понимает и сам Верховный.

Собравшись с мыслями, Кутепов внезапно отправился в Константинополь. Благо вернулся попутный транспорт «Лазаревь», который по договору уже принадлежал Франции, но его все еще пока обслуживал русский экипаж.

Несмотря на раннее время, Врангель уже находился в штабе армии. Адъютант Верховного Михаил Уваров встретил его радушно.

– Приятная неожиданность, – здороваясь, сказал он.

– В наше время неожиданности редко бывают приятными, – мрачно ответил Кутепов.

– В таком случае вы, вероятно, забыли, что мы – в Турции...

Кутепов удивленно взглянул на Уварова.

– Ну, как же! По местным обычаям, гонцам с плохими вестями султаны рубили головы, – широко улыбаясь, пояснил Уваров.

– Ну и шуточки у вас, полковник, – брезгливо поморщился Кутепов и деловито спросил: – На входе мне сказали, что Петр Николаевич уже у себя?

– С шести утра. У него бессонница, – и со вздохом Уваров добавил: – У меня, соответственно, тоже... Сейчас доложу.

Врангель вышел навстречу Кутепову в приемную и, приобняв его за талию, повел в кабинет. Не оборачиваясь, велел Уварову:

– Пожалуйста, Михаил, кофе, чай и что-нибудь на завтрак.

Усадив Кутепова в кресло напротив себя и внимательно его рассматривая, он сказал:

– И не виделись-то всего ничего, а почернел, похудел. Не сладко живется на выселках?

– Французы донимают, Петр Николаевич. Едва не каждый день какой-нибудь новый сюрприз.

– Ну, докладывай!

И Кутепов стал неторопливо и обстоятельно рассказывать о своей последней встрече с французским комендантом Галлиполи подполковником Томасеном, о том, что русскую армию французы больше не считают воинским подразделением и намерены перевести ее в состав беженцев. Объясняет это тем, что по всем международным законам воинское образование, которое не представляет конкретную страну, не является армией.

Закончив свой рассказ о встрече с Томасеном, Кутепов продолжил:

– Мы там у себя обдумали это унижающее нас и нашу армию предупреждение и решили, не ожидая, когда нас станут выживать, а то и силой выгонять, нанести некоторые упреждающие действия. О чем хочу доложить вам и выслушать ваше решение, – Кутепов решительно встал: – Позвольте подойти к карте.

До сих пор Врангель, не прерывая, слушал Кутепова. Но после того, как Кутепов пожелал подойти к карте, он остановил его:

– Пока не продолжайте, – и нажал кнопку звонка.

Дверь в кабинет тотчас открылась, и на пороге встал Уваров. Он пропустил в кабинет вестового с подносом, на котором стояли кофейник и чайник, чашки, и, накрытая салфеткой, возвышалась на тарелке горка круассанов.

Вестовой покинул кабинет, а ожидающего дальнейших распоряжений Уварова Врангель попросил:

– Пожалуйста, Михаил Андреевич, разыщите Шатилова, пусть зайдет ко мне.

Спустя минуту Уваров вновь появился в двери кабинета:

– Ваше превосходительство, Шатилов в городе, через полчаса вернется в штаб, и в тот же час зайдет к вам.

– Ну, что ж, подождем, – вздохнул Врангель. Он поднялся из-за стола и стал расхаживать по кабинету. – То, что вы, Александр Павлович, сейчас сообщили, для меня не новость. Может, в более деликатной форме французы намекали мне на это. По моему размышлению, скорее всего, это там, в Париже, ищут вариант, как избавиться от нас. В самом деле, зачем мы теперь им? Свое они получили: я имею в виду наш российский флот, и не только. Однако на окончательное решение они пока не решаются, боятся международного скандала.

Подойдя к столу, где стоял утренний завтрак, он предложил Кутепову:

– Присаживайтесь к столу. Вот кофе, вот чай. Я с утра предпочитаю кофе.

– Я тоже, – согласился Кутепов. – Прочищает мозги.

За завтраком Врангель продолжил:

– Ну, вот! Я тогда сказал французам, что у нас существует договор, подписанный не только Францией, но и Англией, и ликвидировать Русскую армию французам так просто не удастся. И все их намеки, даже если они идут с самых верхов, – это обычная самостоятельность, которая никакими документами, ничем, кроме слов, не подкреплена. Подчиняться этим намекам мы не намерены и не будем. Попутно я предпринял кое-какие шаги. Но это строго между нами.

– Я понимаю, – согласился Кутепов.

– Вероятно, и для вас не секрет, что наша Русская армия, ее задачи и цели пользуются значительной поддержкой эмигрантских кругов, но также и частью населения Болгарии, Сербии, отчасти Румынии, Венгрии и Польши. Если допустить, что мы уйдем в Болгарию, то только наша организованная сила может увеличиться на сто тридцать-сто пятьдесят тысяч человек, из них – около пятидесяти тысяч офицеров.

Слушая Врангеля, Кутепов подумал: как хорошо, что нелегкая не дернула его за язык и он не изложил Врангелю свои размышления по этому же поводу. Он все это уже давно вычислил. А начальство не очень любит держать возле себя таких же умных и прозорливых подчиненных, как и оно само. Оно должно быть уверено, что его подчиненные на ступеньку, а то и на две по интеллекту ниже. По многолетним наблюдениям, Кутепов знал, что Врангель из их числа. Не зря он тут же, в Турции, сразу избавился от Слащева, одного из самых блестящих генералов, который нередко вступал с Верховным в жестокие словесные перепалки. И не только от Слащева. А такие генералы и офицеры были бы очень нужны сейчас армии.

– По моей просьбе генерал Шатилов встречался с королевичем Александром и заручился его всемерной поддержкой, – продолжил Врангель. – Словом, все это – та сила, которая уже сегодня поддерживает нас в нашем стремлении продолжить борьбу с большевиками. И ее не так просто сбросить со счетов. Наше пребывание в Турции – это всего лишь передышка перед предстоящими действиями. Если же судьбе будет угодно, мы покинем Турцию и уйдем в Болгарию или в Сербию и там продолжим нашу подготовку к весеннему походу.

– Удивительное совпадение, – решил польстить Врангелю Кутепов. – Разрабатывая свой план, мы опирались почти на все те факты, о которых вы сейчас сообщили. То есть наш план как бы увязывает ваши размышления с нашей практикой.

– Что ж, интересно, – тусклым голосом промолвил Врангель. Ему показалось, что Кутепов несколько уничижительно отозвался о его размышлениях и пытается возвыситься в его глазах свои практические наработки. – Но я хочу, чтобы вас выслушал и генерал Шатилов. Он точнее оценит ваши мысли, поскольку знает всю подноготную наших связей с поддерживающими нас странами.

Вскоре появился и начальник штаба армии генерал Шатилов.

– Присаживайтесь, Павел Николаевич! Если не возражаете, немного посовещаемся. Вот Александр Павлович прибыл с интересными размышлениями, – и Врангель попросил Кутепова: – Повторите вкратце все то, что вы мне уже рассказали.

Кутепов коротко повторил и вновь предложил пройти к карте. Там он продолжил:

– Мысль такая: из Галлиполи за неимением флота мы пешим строем уйдем с полуострова и, соединившись с нашими войсками, расквартированными в Каталджи, уходим в Болгарию.

– Вот так сразу? Завтра? – насмешливо спросил Шатилов.

– Зачем же сразу? Подготовимся к походу. Если французы не прекратят свой шантаж, а они уже урезали нам продовольственное снабжение, мы не должны молчать и покажем, что их угрозы нам не страшны. Больше того, возникло авантюрное, но вместе с тем совершенно выполнимое предложение. Суть его в следующем: соединившись с нашими подразделениями из Каталджи, мы широко распространим слух, что уходим в Болгарию. Французов это будет устраивать. А мы тем временем делаем короткий бросок и занимаем Константинополь.

Врангель слушал внимательно, но вместе с тем с легкой скептической улыбкой, словно бы ему рассказывают детскую сказку.

– Ну, допускаю: взяли Константинополь, – сказал он. – И что дальше?

– Дальше? Мы положим его к ногам Мустафы Кемаля, который давно мечтает овладеть Оттаманской столицей. И, таким образом, мы получаем в его лице мощного союзника. Неужели он не поможет нам в борьбе с большевиками?

– Нет, не поможет, – твердо сказал Шатилов. – По моим сведениям, он уже давно заигрывает с большевиками. Кажется, даже заключил что-то вроде мирного договора.

– Ну, что ж! Обойдемся без Константинополя. Хотя и жалко: уж очень красивый завиток получился бы при нашем уходе из Турции. Весь мир бы об этом заговорил, – легко согласился Кутепов. – Но остальной план? Уходить из Турции все равно придется. Раньше или позднее. Лучше раньше.

Наступила длительная пауза. Затем Шатилов взял из рук Кутепова указку:

– План ваш, бесспорно, имеет некоторый смысл. И его следует иметь в виду на самый крайний случай. Мы не знаем, как будут развиваться дальнейшие события, и, вполне возможно, он смог бы нам пригодиться, – сказал Шатилов и повторил: – Мог бы пригодиться, если бы не одно «но», – и он ткнул указкой на карте в самое узкое место Галлиполийского полуострова: – Это вот Балайирский перешеек шириной метров пятнадцать-двадцать. Вам, вероятно, известно, что там постоянно дежурит миноносец. И, конечно, понимаете, зачем он там?

Это было самое больное место и при их обсуждении ухода с полуострова. Кутепов знал, зачем там миноносец, но ответа, как преодолеть без потерь Балайирский перешеек, у него пока не было.

– Там сейчас один миноносец, но через час, едва тронетесь из лагеря, их появятся там два или три, – продолжал Шатилов. – И они разнесут весь ваш корпус в самое короткое время. И все. И конец забавам!

– Этот вопрос тоже решаемый, – не согласился Кутепов. – Я почти уверен, что и эту задачку мы вскоре сумеем решить.

– Вот когда решите... – неопределенно сказал Шатилов.

– Это не разговор. Как перейти через Балайирский перешеек без потерь, над этим мы думаем. Еще день-два, еще неделя, и мы с этим разберемся. Если, конечно, вы не выбросите наш замысел на мусорник, – Кутепов говорил твердо, настойчиво. – В противном случае предложите нам какой-либо другой, с вашей точки зрения, более безопасный! – и он перевел свой взгляд с Шатилова на Врангеля.

– Ну, что вы так раскипятились, Александр Павлович! – тихо и миролюбиво сказал Врангель. – Кто сейчас может предсказать, как сложатся дальнейшие события? Может, французы вывезут нас кораблями? Может, они не станут препятствовать нашему уходу. Но ваш план как запасной, резервный для самого крайнего случая надо держать в голове. Естественно, существенно доработав его и, что главное, решив вопрос безопасного прохода через Балайирский перешеек. Всяко в жизни бывает, вдруг пригодится.

Врангель отошел от карты и уселся за своим рабочим столом, считая разговор о плане Кутепова законченным. Расселись вокруг главнокомандующего и Кутепов с Шатиловым.

– И вот еще что! Не слишком ли много страху нагнал на вас этот... э-э... Томассен? Ну, шантажировал. В давние годы на Руси за это морду валенком били, всего-то, – продолжил размышлять Врангель о новостях, привезенных с полуострова Кутеповым.

– А если это не шантаж? – спросил Кутепов. – Продовольственное снабжение-то урезали. Это же факт. И это, несомненно, санкционировано сверху.

– «Шантаж – не шантаж». Я бы тоже хотел это доподлинно знать. Зная намерения французов, мы могли бы более основательно обсуждать и этот ваш план. Конечно, опуская авантюрные предложения вроде захвата Константинополя.

– Я тоже об этом же подумал, – сказал Шатилов. – Мне почему-то кажется, что это попытка выяснить, как мы будем реагировать. И не идет ли это с самых высоких правительственных кругов? Хорошо бы послать кого-то в Париж: выяснить, чем они там, наверху, дышат?

– Не возражаю, – согласился Врангель. – Мог бы Котляревский. У него там хорошие связи. Но, к сожалению, он болен и, похоже, надолго. Не далее чем вчера мне об этом сообщил главный врач французского военного госпиталя. Котляревский лежит у них.

– А если вашего адъютанта Михаила Андреевича? – спросил Шатилов. – Он у меня несколько раз спрашивал, не намечается ли поездка в Париж. Мне кажется, у него там помимо некоторых деловых связей есть еще и сердечные дела.

– Вы думаете? – удивился Врангель.

– А что ж тут такого! Молодой, красивый, уже полковник, и все еще не женат, – сказал Шатилов. – А время бежит. И я думаю, его сердце не только одной войной занято.

– Пожалуй, – Врангель задумчиво побарабанил пальцами по столу и затем нажал кнопку звонка.

Уваров почти тотчас встал в двери.

– Пройдите сюда, Михаил Андреевич, – пригласил его Врангель и усадил в свободное кресло. Михаил понял: за этим последует какое-то серьезное поручение.

– Скажите, Михаил Андреевич, если я попрошу вас съездить в Париж, это никак не повлияет на ваши ближайшие планы?

– Если это необходимо, я готов, – охотно отозвался Михаил Уваров. Он не слышал, что сказал Шатилов о его сердечных делах, и, мгновенно согласившись, выдал себя с головой.

Все трое заулыбались. Михаил не понял, почему они улыбаются, покраснел.

– Я что-то не так сказал? – смущенно спросил он.

– Нет-нет, именно так, – сказал Врангель. – Я мог бы послать в Париж Котляревского, он там хорошо прижился и как рыба в воде легко плавает среди высшего чиновничьего люда. Но он болен. А вы, как мне известно, тоже имеете определенный пиетет в тех же кругах. Это важно, потому что надо неприметно, ненавязчиво вывести у французов их ближайшие виды на нашу армию. Понимаете, нас интересует не их точка зрения, уже оформленная различными договорами. Мы их знаем. Иными словам, нам необходимо знать их настроение, выяснить, на какой почве произрастают запугивания французами перевести нашу армию в беженцы, урезать, а потом и лишить армию продовольственной помощи. Что это? Отголоски прежних настроений определенной части французского общества или же намечающийся новый поворот, пока еще не скрепленный печатями президентом Мильераном и премьер-министром Аристидом Брианом?

– Но договор? Разве это не гарантия? – удивился Михаил Уваров.

– Договора пишут на обычной бумаге. Ее можно порвать, сжечь, скомкать и выбросить в урну. Они действуют до тех пор, пока написанное в них соответствует взглядам и желаниям властей, а также влиятельному большинству общества. В противном случае в договор можно заворачивать селедку, – и, немного помолчав, Врангель добавил: – Нам необходимо хотя бы приблизительно знать, какие документы о нашей армии подпишет в ближайшем будущем президент Мильеран. Все подробные инструкции вам даст Павел Николаевич, – он указал взглядом на Шатилова. – И еще. Навестите в госпитале Котляревского, его советы вам тоже окажутся не лишними.

Глава четвертая

Не зря в давние времена художники один из оттенков синего называли парижской лазурью. Даже в самые хмурые зимние дни Париж был подернут легкой, едва ощутимой голубизной и от этого выглядел чуть более нарядным, праздничным. Или эта праздничность лишь показалась Михаилу Уварову после неопрятной сероватой белизны Оттоманской столицы.

Где-то вдали от столицы Франции на вопрос: «Как там Париж» парижане неизменно отвечают «Париж всегда Париж». Михаилу Уварову в последнее время несколько раз доводилось приезжать сюда по делам – и летом, и зимой, – и Париж не претерпевал никаких видимых изменений. На улицах спокойное, безмятежное многолюдье. Никто никуда не торопится, на лицах улыбки, звучит смех. Совсем другой мир, где совершенно забыто или ему даже неведомо, что такое война. Париж и в самом деле никак не меняется. Он всегда все тот же веселый, беспечный, неунывающий Париж.

День клонился к вечеру, учреждения закончили свою работу, на фабриках и заводах – пересменка, рабочие и чиновники вливались в людской поток и, весело обмениваясь новостями, направлялись домой.

Уваров понял, что в этот день он уже тоже ничего не сможет сделать, нигде его не примут, не побеседуют. Да и ему самому после утомительной дороги в «Восточном экспрессе» хотелось хоть на время забыть обо всем, о предстоящей здесь работе, тем более что она была весьма неопределенной. Он знал, что должен привезти ответы на вопросы: что означают все эти запугивания распустить Русскую армию и перевести ее в разряд беженцев, откуда это идет, кто отдал приказ отобрать оружие, сократить поставки продовольствия? Все это лишь блеф, шантаж французской администрации в Стамбуле или же такие планы вызывают у французского правительства?

Даже Котляревский, который немало времени провел в правительственных коридорах, не смог ему подсказать, как подступиться к выполнению этого задания. Получалось, как в сказке: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».

Выйдя с Восточного вокзала, Михаил перешел через привокзальную площадь, вышел к Страсбургскому бульвару и в густом потоке пешеходов, иногда останавливаясь возле ласкающих взгляд нарядных витрин магазинов, спустился вниз, к знаменитой Риволи. Ее всегда преимущественно заполняли туристы. Вместе с ними он перешел через Сену и вскоре оказался возле знакомого собора Парижской Богоматери – чуда французской готики. Сооруженный без малого тысячу лет назад, он и до сих пор поражал своей величественной красотой.

Ночевал он в одной из маленьких уютных домашних гостиниц, которые здесь встречаются едва ли не на каждом шагу.

Утром он отправился в российское консульство, чтобы отметить о своем пребывании в Париже и оформить обратные выездные документы.

Посетителей в эту раннюю пору в консульстве еще почти не было, в одной небольшой комнате, куда он заглянул, сидели трое консульских работников, и среди них и тот, с которым Михаил хотел увидеться прежде всего, потому что знал его по совместной службе у генерала Ковалевского. С недавних пор Николай Григорьевич Щукин по семейным обстоятельствам вышел в отставку и теперь занимал здесь должность одного из консульских служащих. На его дельные советы Михаил особенно рассчитывал. К тому же он надеялся осторожно выведать у него о парижской жизни его дочери Тани, в которую был давно и не очень тайно влюблен. По крайней мере парижская эмиграция была посвящена в этот секрет и полагала, что Михаил Уваров – достойная партия дочери Щукина. Но посвящен ли в эту тайну вечно занятый различными делами бывший начальник контрразведки Щукин, Уваров не знал, равно как не знал, с чего начинать с Николаем Григорьевичем разговор о его дочери. Хотя Щукин

всегда относился к нему не так официально, как к остальным посетителям, – Михаил это чувствовал во время каждой их встречи.

Едва увидев Михаила, Николай Григорьевич и в этот раз обрадовался его появлению в Париже, крепко пожал руку и тут же увел в коридор, который еще пустовал, и у них была возможность поговорить без свидетелей.

За то короткое время, что они не виделись, Щукин почти нисколько не изменился, разве что под его черными глазами пролегла легкая синева, отчего его взгляд стал менее строгим и колючим, и его цивильная одежда тоже прибавила ему мягкости. А возможно, это сказывался возраст? Замечено: большинство людей от груза пережитых жизненных хлопот с годами становятся добрее.

– Ну, рассказывайте, как там у вас? Что? Как Петр Николаевич? Какие настроения? С чем приехали? – засыпал Щукин вопросами Михаила.

Михаил коротко рассказал ему обо всем. И, лишь закончив, спросил:

– Вы-то как здесь? Много работы? Не обижают французы?

– У нас в консульстве работы выше крыши. Народ все прибывает. Кто-то сумел бежать, кого-то большевики выслали, как людей им не нужных. Даже ученых с мировым именем, крупных инженеров. Полный абсурд. И нам надо каждого как-то здесь легализовать, помочь получить хотя бы право на проживание. Впрочем, этот контингент у нас больших хлопот не вызывает: ученых, инженеров тут же разбирают французские фирмы. Хуже было, когда основным потоком беженцев были военные: тяжело с трудоустройством. Но и те как-то устраивались: кто в таксисты, кто в охрану. Знавшие язык, те лучше устроились. Сейчас едут писатели, музыканты, артисты, ну и еще разные фабриканты, заводчики, предприниматели. Эти легко вписываются во французскую жизнь. Труднее с деятелями культуры. Хлопот с ними, конечно, хватает, но и они постепенно находят свои ниши и становятся для нас все менее обременительными.

Закончив свой рассказ, Щукин, еще раз взглянув на Уварова, заметил:

– А вы возмужали. Уже язык не повернется называть вас Микки.

– Отчего же, вам можно. Родители и сейчас меня так называют. Мне даже нравится.

– Нет-нет, вы уже не Микки. И полковничьи погоны вам очень к лицу, – и с легкой завистью Щукин добавил: – Я до полковничьих погон бесчисленное количество военных дорог протоптал. А вы – на автомобиле. Быстрее. Нет-нет, я не полковничьим погонам завидую. Вашей молодости.

– Спасибо на добром слове. Но я все еще не ощущаю себя так уж сильно возмужавшим. И погоны, боюсь, мне все еще не придают солидности. Хотя я и пытаюсь изо всех сил быть солиднее: должность обязывает, – после этого Михаил спросил: – Скажите, а как живет наше посольство?

– Тревожно, – одним словом ответил Щукин и потом объяснил: – Французы потихоньку начинают его игнорировать. В правительственных кругах идут постоянные переговоры с большевистскими делегациями. Нашего посла Маклакова на эти переговоры не приглашают, в суть обсуждаемых вопросов не посвящают.

– Но просачиваются же какие-то слухи? – спросил Михаил.

– А что такое слухи? Вода на ветру: ветер стих, и волна успокоилась. Сегодня говорят одно, завтра – другое. Определенности никакой. Знаю одно: большевики настаивают, чтобы сменить весь посольский и консульский состав сотрудников и открыть новое, уже советское посольство. Французы им ответили, что для этого должна назреть такая необходимость, то есть прежде всего заключен мирный договор. А его нет, и пока не предвидится. На эту тему даже слухов никаких нет.

– А какие слухи ходят по поводу пребывания нашей армии в Турции? – задал тот самый важный для себя вопрос Михаил. Собственно, ради этого и послал его в Париж Врангель.

– Разные. Особых слухов нет. Существует договор о помощи Францией Русской армии. Когда заговорят о нем, тогда поплывут различные слухи. Если же его денонсируют, тогда станет ясно, что французы отказываются помогать Русской армии. Пока же о денонсации в высших кругах речь не идет. Поэтому и особых слухов нет. Вернее, они есть, но выслушивать их, а тем более обращать на них внимание – дело пустое.

И тогда Михаил подробно рассказал Щукину о цели своего приезда: о шантаже французами наших воинских подразделений, разбросанных по глухим окраинам Турции, об угрозе отобрать оружие, перевести всех военных в разряд беженцев, прекратить продовольственное снабжение.

Немного помолчав, Щукин сказал:

– Вы назвали это точным словом: шантаж. Здесь подобных разговоров я не слышал. Но, вполне возможно, они прошли мимо меня. Тут вам придется немного походить по правительственным коридорам. Ни президент Мильеран, ни премьер Бриан вас конечно же не примут. Но даже, если бы и приняли, ничего они бы вам не сказали. Политика варится в темной кухне, зажигают свет лишь тогда, когда все готово. А вот в правительственных коридорах что-то из области слухов вы узнаете много разного. Но правды там будет крайне мало или не будет совсем.

Больше Уваров задерживать Щукина не стал. Тем более что в консульство уже стали подходить посетители, Щукин направлял их то в один, то в другой кабинет. Но Михаил почувствовал, что уже пришло время и Щукину приниматься за работу.

Провожая Михаила, Щукин спросил:

– Ну, недельку-то пробудете в Париже?

– Не знаю, – ответил Михаил. – Петр Николаевич просил не задерживаться.

– А я не сумею так быстро оформить вам выездные документы.

Михаил так и не понял, пошутил или серьезно сказал это Щукин, и поэтому коротко обронил:

– Неприлично задерживаться. Это как во время боев – засиживаться в тылу.

Пожимая Михаилу руку, Щукин как бы между прочим сказал:

– Я полагаю, у вас все же найдется свободное время. Не соблаговолите ли как-нибудь однажды навестить Таню. Скрасьте ее одиночество. Она будет рада.

– Я изо всех сил постараюсь. Да-да, я непременно ее навещу.

И уже когда Михаил покинул помещение и по лесенке спустился на улицу, звякнул дверной колокольчик и на пороге вновь встал Николай Григорьевич:

– Совсем упустил. Примите один дельный совет. Вы, верно, слышали о Павле Николаевиче Милюкове? – с верхней площадки спросил Щукин.

– Припоминаю. Кажется, во Временном правительстве был министром иностранных дел? – стоя внизу, на улице, ответил ему Михаил.

– Ну, это так, проходное, – отмахнулся Щукин от этих слов Михаила. – Но он – блестящий историк, политолог, публицист. Он только недавно вернулся из Англии и сейчас находится здесь, в Париже. Рекомендую встретиться с ним. Он вам многое прояснит. А эти правительственные клерки ничего умного вам не откроют. У них профессия такая: быть дураками. Скажешь умное слово, и тот, который выше тебя, подумает, что ты умнее. И завтра ты уже на улице. У них там все по Дарвину – естественный отбор. Умных туда не берут. Поговорите с ними хотя бы для того, чтобы убедиться в этом.

– Спасибо за добрые советы.

И с этим они расстались.

Вечером Щукин пораньше ушел со службы: спешил порадовать Таню, что в Париж снова приехал Микки Уваров (для Тани он по-прежнему оставался Микки) и в ближайшие дни обещал ее навестить.

Щукин догадывался, что у Тани с Микки сложились определенные отношения. Совсем недавно он заметил, что Таня стала носить непривычную для нее одежду: широкую, не облегающую талию, и до его сознания дошло, что дочь находится в интересном положении, и ждал. Ждал, когда однажды Уваров попросит руки его дочери. А еще он ждал, что Таня сама пойдет с ним на откровенный разговор. Он начинать его не хотел, но понимал, что и Тане пойти на такие откровения с отцом очень нелегко. Щукин же боялся, что своим неуклюжим мужским разговором он разрушит те добрые доверительные отношения, которые сложились у них давно, вскоре после смерти матери. В Париже Таня редко выходила в свет и большей частью находилась в одиночестве, и эти их отношения только еще больше укрепились.

– У меня для тебя очень хорошая новость, – едва войдя в квартиру, еще с порога сказал он.

– Письмо или какие-то вести от Вяземских? – попыталась угадать Таня.

Вяземские после отъезда из Турции Щукиных тоже вскоре оказались в Париже, и их дочери почти все время проводили с Таней: либо сидели у нее в гостях, либо они все вместе гуляли по Парижу. Но больше всего Таня дружила со своей сверстницей Анютой – старшей из трех дочерей Вяземских. Но уже вскоре после их переезда в Париж Анюта вышла замуж за какого-то высокопоставленного итальянского чиновника. Свадьба была шумной, бестолковой, с большим количеством итальянских гостей, и речь за столами в основном звучала итальянская, которую никто из немногих присутствующих русских не понимал.

Вскоре после свадьбы Анюта с мужем уехала куда-то в Италию, кажется, в Милан, остальные Вяземские тоже здесь долго не задержались и вскоре переехали в Лондон. С тех пор Таня осталась в Париже в полном одиночестве.

– Нет, не угадала. Это не вести от Вяземских, – сказал Николай Григорьевич.

– Ну, не томи, пожалуйста! Тогда что же? – почти вскрикнула Таня.

– Что ты волнуешься? Я же сказал: хорошая для тебя новость. В Париж по своим служебным делам снова приехал Микки Уваров и обещал в ближайшие дни навестить тебя.

– Микки? – угасшим голосом переспросила Таня.

– Да. Он уже полковник! Ты увидишь, как ему идут полковничьи погоны! Гусар!

Таня не приняла этот торжественный тон отца и спокойным, будничным тоном сказала:

– Но он, кажется, и был полковником, когда последний раз навещал меня.

– Нет. Всего лишь капитаном, – поправил Таню Николай Григорьевич и, поняв, что его сообщение не произвело на дочь никакого впечатления, спросил: – Вы что же, перессорились?

– Нет, почему же? У нас с ним милые дружеские отношения.

– Только и всего?

– Разве этого не достаточно?

Щукин понял, что Таня не собирается открывать ему свою тайну, и решил.

– Танька! – так иногда называл Таню отец в порыве дружеского расположения. – Не пора ли нам поговорить откровенно и начистоту. Или ты думаешь, что я ничего не замечаю? Нет, мне далеко не безразлично, как ты живешь и чем ты живешь.

– Я хотела. Я много раз собиралась. Но не хотела тебя расстраивать. Даже не так: я боялась, – решительно, но сбивчиво заговорила Таня. – Да, у меня будет ребенок. Поначалу я боялась, что ты начнешь меня отговаривать. А сейчас... сейчас уже поздно, он уже есть. Он подает признаки жизни и, вероятно, очень ждет своего появления на свет. Ты это хотел от меня услышать?

– Я догадывался. А потом, позже, я уже знал, – сказал Щукин. – Но почему он не пришел ко мне и, как всякий порядочный человек, не попросил у меня... как это... твоей руки? Или благословения? Так поступают в нормальном человеческом обществе. Даже если

рушится мир, если война, эти законы никто не отменял. Даже сегодня. Я думал, он отважится. А он? «Полковник!».

– Ты напрасно гневаешься на Микки, папа. Это не он.

– Не он? – сраженный этой новостью, Николай Григорьевич опустился в кресло. Когда-то, в совсем недавние времена, он вершил судьбами тысяч людей, а тут рушилась судьба одного-единственного родного ему человека, а он был слеп. Он шел по ложному следу. – Что, это и в самом деле не Уваров?

– Нет, папа.

– Ну, хорошо. Я верю тебе. Но я не могу допустить мысль, что твой избранник – какой-то проходимец. В таком случае почему он до сих пор не пришел ко мне? Ну, случилось! Но разве он не понимает, что пойдут суды-пересуды, сплетни. Он губит не только твою, но и мою репутацию.

Он говорил и в то же время понимал, что это не те слова. Но иных слов он сейчас не находил. Все то хорошее, связанное с его дочерью, которое он слишком долго рисовал в своем воображении, в одночасье рухнуло. Он готов был ко многому, к тому, что все может произойти не совсем так, как ему хотелось, но оправдывал это войной, которая вторглась в их размеренную, спокойную жизнь. Он допускал, что может произойти какой-то сбой, и случится все не совсем так, как мечталось. Но главное обязательно сбудется: у Тани будет красивая свадьба, будет муж, дети и будет его тихая старость в кругу близких ему людей.

– И все же, кто он? – спросил наконец Николай Григорьевич.

– Его нет, папа.

– Как это – «нет»? Он погиб?

– Возможно. Я не знаю. Да и в этом ли сейчас дело? Будет ребенок. Мой ребенок.

– Наш ребенок, – поправил Таню отец.

– Надеюсь, ты полюбишь его так же, как всю жизнь любил меня и маму.

– В этом ты можешь не сомневаться, – тихо сказал Щукин, размышляя о чем-то своем. И затем сказал: – Я только хотел бы знать, он погиб в бою? Он был достойным офицером? Это важно, потому что и я, и ты – мы должны им гордиться. И твой ребенок... наш ребенок... для него это тоже когда-то будет иметь значение, кто был его отец.

– Давай оставим этот разговор, у меня заболело сердце, – взмолилась Таня. – Придет время, и я все тебе о нем расскажу, и ты, и наш будущий ребенок, не сомневаюсь, будете им гордиться.

Пережив этот тяжелый разговор, Таня долго не могла уснуть. Она слышала: даже полночь отец не ложился спать. Он ходил взад-вперед по узкой кухоньке и время от времени открывал и закрывал оконную форточку. Таня поняла: отец, много лет не куривший, снова закурил.

Два дня у Михаила Уварова ушло на то, чтобы получить аудиенцию одного из чиновников секретариата премьер-министра. Ришар Ромбер был советником Аристиды Бриана и занимался русскими вопросами. Уже не молодой лысоватый человек, с пожеванным лицом, в роговых очках с увеличительными стеклами, делавшими глаза большими, совиными, встретил Михаила в бюро пропусков и провел в свой небольшой кабинет. Усадив Михаила в кресло, сам сел напротив. За его спиной висела карта Российской империи, Турции на ней не было. Получалось, что разговор о судьбе Русской армии будет умозрительным.

– Итак, позвольте узнать, что привело вас ко мне? – спросил господин Ромбер на русском языке, который с его грассированием был больше похож на французский. – Коротко доложите суть вашего вопроса.

– Коротко не получится, – сказал Микки и тут же успокоил месье Ромбера: – Но я постараюсь.

И Уваров рассказал Ромберу о причинах столкновений русского генерала Кутепова с комендантом французской администрации полуострова Галлиполи подполковником Томассеном. Французский подполковник потребовал разоружения русского армейского корпуса и перевода его в статус беженцев. Он же без всякого предупреждения уменьшил продуктивное довольствие, и солдаты и офицеры вынуждены ловить в проливе рыбу, чтобы несколько улучшить свое питание.

– Я, полковник Уваров, послан сюда Верховным главнокомандующим Российской армией генералом Врангелем для того, чтобы получить официальные ответы на несколько вопросов, – строго и официально отрекомендовался Михаил Уваров. – Генерал Врангель хотел бы знать, на каком основании все это происходит? В договоре, который заключен между Францией и Российской армией, такие санкции не прописаны и не могут выполняться в одностороннем порядке, по чьей-то прихоти.

– «Прихоти»? Означает «желанию»? – спросил Ромбер.

– Если хотите, можно и так. Но менее вежливо, – согласился Уваров и продолжил: – Если французским правительством весь этот шантаж не санкционирован соответствующими документами, подполковник Томассен должен быть наказан, вплоть до увольнения. Если же какое-то официальное решение по этому поводу уже возникло, российская сторона должна была бы заблаговременно поставлена о нем в известность. Не так ли, господин Ромбер?

Уваров умолк.

– И это все? – с некоторым удивлением спросил Ромбер.

– А разве этого мало? – в свою очередь, задал вопрос Уваров.

– Для решения таких вопросов достаточно телеграфа.

– Досадная ошибка. Но генерал Врангель не знал, что такие важные вопросы в вашем ведомстве так просто решаются, и поэтому снарядил меня сюда, будем считать, в качестве телеграфа, – с легкой иронией сказал Уваров. Он уже понял, что господин Ромбер – старый, испытанный во многих политических передрягах бюрократ и ждать от него откровенного разговора вряд ли стоит. И все же сказал: – Продиктуйте мне вразумительный ответ.

– Вра-зу-мительный? Это надо понимать: разумный? – спросил Ромбер.

– Нет, это означает: четкий, ясный, определенный. Ну, и желательно, чтобы он был разумный.

– Спасибо. Ваш язык богаче французского, у вас больше тонких нюансов, – похвалил русский язык Ромбер и затем с готовностью сказал: – Я готов дать вам вра-зу-мительный ответ.

– Заранее благодарю вас.

– Существует договор, он не денонсирован, – Ромбер тут же поправился: – Это не русское слово. По-русски оно будет означать «не отменен». Так вот в самом деле он не отменен. Это все, что я могу вам сказать.

– Ну, в таком случае, быть может, вы мне подскажете, почему подполковник Томассен и другие официальные лица французской администрации в Турции позволяют себе так грубо шантажировать командование Русской армии?

– Вероятно, подполковник Томассен так неудачно пошутил, – объяснил Ромбер.

– Остальные тоже шутили?

– А почему нет? Мы, французы, очень любим юмор. Мы очень много шутим, случается, неудачно, но никто ни на кого не обижается. Знаете, мы очень веселая нация. Не в пример нам, вы всегда мрачные, суровые.

– Война сделала нас такими, – сказал Уваров. – Быть может, вы дадите мне документ? Ну, что все, что произошло, было шуткой. На тот случай, если господин Томассен или кто-либо еще снова вздумает так пошутить.

– А вы, я смотрю, тоже веселый человек, – похвалил Ромбер Уварова. – Как, к примеру, должен выглядеть такой документ? «Считать шутку подполковника Томассена действительно шуткой?»

– Ну, и должность, подпись, – подсказал Уваров.

– Такие глупости я не имею права подписывать. Даже в шутку, – перешел на сухой деловой тон Ромбер.

– А вам и не надо. При чем тут вы? Шутка-то тяжелая, нешуточная. Государственного масштаба шутка, – веселясь в душе, отчитывал Ромбера Уваров. – И подпись под документом тоже должна быть весомой, скажем, премьер-министра Аристида Бриана.

– Что вы! Что вы! – лицо Ромбера побелело. – Это, знаете ли... это оскорбление...

– Это шутка, месье Ромбер. Поверьте, мы, русские, тоже любим шутить. И умеем шутить, – Уваров тоже перешел на деловой тон. – Надеюсь, у господина Томассена мы тоже не останемся в долгу. И на этом давайте закончим насчет шуток. Теперь по делу. Это все, что вы хотели мне сказать по поводу вопросов, поставленных не мною, а Главнокомандующим Русской армией генералом Врангелем?

– Да, это мой официальный ответ. Наш договор с Русской армией о помощи остается в силе и не подвергается никаким изменениям. Это, пожалуй, все, что я могу вам сказать. Был очень рад с вами познакомиться. Благодарю за визит.

– Пожалуйста. Но я ждал, что вы тоже зададите мне один-единственный вопрос, который задаете всем посетителям, – глядя в совиные глаза Ромбера, сказал Уваров.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.